

Григорий Явлинский

# Периферийный авторитаризм

*Как и куда пришла Россия*

Москва  
«Медиум»

Питер Брейгель Старший (около 1525—1569) и Питер Брейгель Младший (1564—1638) — великие нидерландские живописцы, в творчестве которых много сатирических аллегорий.

В оформлении книги использованы репродукции картин:

- ♦ «Притча о слепых» (обложка),
- ♦ «Страна лентяев» (Введение),
- ♦ «Детские игры» (фрагменты, Глава 1 и Глава 3),
- ♦ «Большие рыбы пожирают малых» (Глава 2) Брейгеля Старшего
- ♦ и «Извлечение камня глупости» (Вместо заключения) Брейгеля Младшего.



обложка



Введение



Глава 1



Глава 2



Глава 3



Вместо заключения

УДК 323.2

ББК 66.3 (2Рос)

Я 20

**Явлинский Г.**

Периферийный авторитаризм. *Как и куда пришла Россия.* – М.: Медиум, 2015. – 264 с.

ISBN 978-5-85600-824-0

Книга посвящена анализу особенностей российской политической системы, причин и путей ее формирования. В представленной читателям работе автор подробно исследует российский периферийный авторитаризм, предлагает прогноз развития системы и варианты выхода из политического кризиса. Книга продолжает ряд ранее опубликованных работ автора, посвященных периферийному капитализму.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся судьбой России.

Редактор – Здоровов Ю.А.

Художник – Ревунова Н.М.

Корректор – Осипова И.М.

ISBN 978-5-85600-824-0

© Явлинский Г.А., 2015

© Издательство  
«Медиум», 2015

## Оглавление

Введение. Политическая система современной России – почему о ней нужно говорить, и говорить именно сейчас .....	7
1. К чему мы пришли: как и почему.....	28
«Периферийный авторитаризм» как характеристика политического строя российского капитализма.....	29
1990-е годы: а был ли «золотой век»?.....	46
2000-е годы: что произошло с политической системой.....	73
2. Периферийный авторитаризм: что у нас возникло и как оно работает.....	87
Формула властвования.....	89
Выборы без выбора.....	103
Административная рента.....	109
Поиски идеологии.....	115
Коррупция как система.....	136
Социальная база.....	152
Слабость институтов.....	166

3. Будущее автократии в России: с чем нам жить и как долго.....	177
Будущее системы: предсказуемо ли оно?.....	183
Третий срок и новый курс.....	194
Внешний мир как противник.....	197
Новая идеология: мифический «полюс силы» как высшая ценность.....	215
Политическая модель: поиск идеальной вертикали .....	223
От периферийного авторитаризма к авторитаризму провинциальному.....	232
Новый облик российского авторитаризма.....	242
Вместо заключения.....	248
Summary for English readers.....	255

## Введение

Политическая система современной России — почему о ней нужно говорить, и говорить именно сейчас



За последнее десятилетие я довольно много писал о том специфическом общественно-экономическом организме, который на рубеже двух тысячелетий стал реальностью в «новой России» после скоротечного и во многом катастрофичного краха советской политической и экономической системы.

В данном случае я имею в виду не конкретные события, и даже не тенденции, присутствовавшие и продолжающие присутствовать в нашей политической и хозяйственной жизни двух последних десятилетий, а некий каркас устойчивых отношений в этих областях, который в течение этого периода постепенно сформировался, а сегодня цементируется общей логикой происходящих в стране и вокруг нее событий. Другими словами, речь идет о том, что в марксистской традиции обозначалось термином «общественный строй» — о совокупности существенных отношений, которые формируют ткань общественной жизни на длительную перспективу и совершенно не зависят от того, что о них говорят и думают в самом обществе.

При этом — возможно, в силу инерции своего образа мышления и сложившегося круга интересов — я делал упор, главным образом, на экономический аспект сформировавшейся системы, пытаюсь, в меру своих сил и опыта, понять и обрисовать в более или менее научных терминах отношения по поводу собственности и управления ею в постсоветской России. Я считал — да и сейчас не изменил своего мнения — что при всем буйстве политической жизни страны начала 1990-х годов, при всем дра-

матизме событий и конфликтов, ее наполнявших, она оказалась в конечном итоге вторичной по отношению к тем достаточно глубоким, но не всегда очевидным процессам, которые сформировали особый тип «нового» российского капитализма, — капитализма, возникшего не столько благодаря, сколько вопреки желаниям и расчетам практически всех сил, так или иначе причастных к его формированию, часто противоположных по своим объективным интересам и субъективным устремлениям.

Наиболее подробные рассуждения на эту тему содержатся в ряде моих работ, включая публичные выступления, относящихся к периоду 2003—2006 гг. Не пересказывая полностью того, что в них было сказано, я все-таки позволю себе напомнить, что я тогда считал главными чертами российского варианта постсоветской экономической системы — хотя бы для того, чтобы соотнести нарисованную тогда картину с нынешним днем и убедиться, что все ее основные элементы сохраняют свою актуальность.

Во-первых, я полагал тогда, что в результате так называемых реформ — а фактически это были не реформы, а пассивное следование стихийному ходу событий — в конце 1990-х годов мы оказались заложниками странной эклектической системы хозяйственных отношений, в которой причудливым образом переплелись элементы недоразвитого классического капитализма; механически перенесенных на его почву институтов, характерных для современного постиндустриального финансового капитализма; пережитков административной и встроенной

в нее теневой экономики советского типа; полуфеодалных отношений, уходящих своими корнями еще в досоветский период; наконец, обычного криминала в экономике. Собственно, этот факт тогда никем всерьез не оспаривался — спор шел лишь о соотношении различных элементов в этой «смешанной» системе и ближайших перспективах ее дальнейшей эволюции. В отличие от так называемых «либеральных реформаторов», которые тогда были настроены в целом оптимистично и уверяли, что эклектика отношений отражает переходный характер экономики 1990-х, а стихийное развитие событий приближает российскую экономику к западному мейнстриму, я считал, что никакого стихийного, автоматически действующего вектора движения в сторону зрелого конкурентного капитализма тогдашняя ситуация не содержала.

Во-вторых, я говорил, что в российской экономике отсутствуют четкие границы между сегментами, в которых бы господствовали разные типы отношений. Другими словами, разные уклады в экономике не соседствуют, разделяя ее на, условно говоря, современный, постсоциалистический, теневой и патриархально-традиционный сектора, а тесно переплетены между собой, вовлекая в свою орбиту одни и те же отрасли, предприятия и даже одних и тех же людей. В результате, каждый субъект хозяйственной деятельности имел перед собой некий коктейль из правовых норм, неофициальных «понятий», административного произвола, криминального насилия (исходящего, в том числе,

от официальных органов власти) и обширного поля неопределенности, в котором господствовал слепой случай. В экономике такого типа (в одной из своих работ я охарактеризовал ее как «экономику силы и случая») субъекты вынуждены полагаться на стихийно устанавливающиеся «правила игры», которые оказываются достаточно подвижными, и под влиянием изменений в соотношении сил и просто случайных факторов могут существенно меняться на протяжении даже одного инвестиционного цикла.

В-третьих, я полагал, что коренные причины неудач «переходного периода» 1990-х годов заключались не в частных ошибках экономической политики правительств того времени и не в недостаточности усилий по борьбе с криминалом (хотя и то и другое имело место), а в неадекватной общей оценке того общественного организма, который возник в стране на месте советской системы хозяйствования.

Выражение «периферийный капитализм», которым я тогда активно пользовался, на мой взгляд, отражает не только место России в глобальном хозяйстве, частью которого мы бесповоротно стали после краха советского «развитого социализма», но и характер возникшей на ее обломках новой общественной системы. Я хотел сказать, что не только для нас, но и в целом для периферийных частей всемирного капитализма многое в подобном характере хозяйственных отношений является печальной нормой, при всем огромном значении частных особенностей. Черты социально-экономической модели, присущие России образца второй половины 1990-х

годов, можно обнаружить во многих политически «переходных» странах, не входящих в ядро современной мировой экономики.

Соответственно, на фоне оптимистичных (по своей сути) прогнозов о якобы скором завершении переходного периода; о том, что молодой и энергичный российский капитализм вот-вот возьмет судьбу страны в свои сильные руки, я утверждал, что переход из сложившейся на тот момент в России экономической ситуации к экономике, характерной для развитых стран, — не естественный плавный переход, а редкостный исторический шанс, требующий для своей реализации упорных целенаправленных усилий всей российской элиты. Мои рассуждения о необходимости для этого нового общественного договора, создания принципиально новых институтов и осуществления с их помощью подлинных, а не мнимых реформ многие тогда отметили как занудное резонерство, как оправдание моего якобы нежелания брать на себя ответственность за участие в непростых, но в целом ведущих в «правильном направлении» процессах преобразования России.

Наконец, в-четвертых, я неоднократно говорил о том, что быстро сформировавшаяся в России система «периферийного капитализма» обладает внутренней устойчивостью и может в более или менее неизменном виде существовать в течение десятилетий, особенно если не будет подвергаться испытаниям на прочность угрожающими воздействиями извне. Она опирается на собственную социальную

базу в лице тех слоев и групп в обществе, которые могут даже в условиях меняющихся «правил игры» извлекать административную и криминальную ренту из своего текущего положения, а в некоторых случаях — и «прогибать» эти правила в свою пользу. Более того, наличие больших запасов природного сырья, прежде всего углеводородов, дает возможность не только гарантировать в течение долгих лет благополучие привилегированных слоев общества (то есть тех, кто имеет возможность реализовать свое положение в обществе для извлечения рентного дохода), но и обеспечить работой и доходами довольно многочисленные слои тех, кто так или иначе улавливает возникающие в результате добычи и реализации этих ресурсов потоки доходов и спроса. Это, в свою очередь, означает высокую вероятность закрепления на исторически длительный период подобного рода системы, которая при всей своей уродливости и малой эффективности не содержит в себе жестких объективных внутренних ограничителей и, более того, способна в среднесрочной перспективе сосуществовать с экономическим ростом, ростом доходов и потребления и доминирующим ощущением увеличивающегося благосостояния.

Соответственно, я предполагал, что вывести страну из равновесной системы полустойкого типа могут только политически мотивированные целенаправленные усилия властей при поддержке большей части экономической элиты. Что же касается стихийной эволюции общественного сознания и институтов, на которую многие возлагали тогда немалые

надежды, то мне она представлялась сомнительной перспективой. Именно с этим были связаны мои призывы к формированию широкой общественной коалиции в поддержку реформ и фактически навязывания власти новой повестки дня, включающей в себя, в частности, легитимацию власти и собственности в стране путем их широкого общественного признания на основе принципов права, справедливости и социальной ответственности, а также единства прав и обязанностей собственников; недопущение концентрации власти в одних руках и создание механизмов юридически корректной замены лиц, осуществляющих властные полномочия, через давление «снизу»; повышение прозрачности процесса принятия решений государственными органами и структурами, а также деятельности политических партий и лоббистских групп и др. В качестве механизма достижения этих целей я предлагал заключение широкого общественно-политического соглашения между представителями государства, крупного бизнеса и гражданского общества, которое бы сформулировало своего рода «дорожную карту» реальных мер по достижению вышеназванных целей<sup>1</sup>.

Сегодня, оценивая ход событий с начала 2000-х годов и по сегодняшний день, я не вижу необходимости по его результатам вносить существенные коррективы в обрисованную выше картину. Строго говоря, наблюдавшийся вплоть до 2008 г. рост доходов и богатства (и притом существенный — было

<sup>1</sup> См. об этом, в частности, «Вопросы экономики», № 9. 2007. С. 19–26.

бы неразумным этого не замечать) в результате увеличения экспортных доходов и их последующего перераспределения через рыночные механизмы и государственный бюджет не привел к изменению существенных характеристик того общества, в котором мы живем.

Российский капитализм был и остается характерным и одновременно весьма своеобразным образцом окраины мирового хозяйства, экономически (и технологически) зависимой от его ядра — развитых стран Запада; сохраняющим в себе огромные анклавы архаичных хозяйственных и общественных укладов и лишенным внутренних двигателей роста и развития в виде самостоятельного накопления капитала на обновляющейся технологической основе.

Структура экономики за эти годы не только не усложнилась, но, наоборот, еще больше приблизилась к модели, ориентированной на внешние источники спроса, на ограниченный круг традиционной продукции и внешние же источники инвестиций. Более того, невзирая на все разговоры об обратном и даже предпринимаемые сугубо административные меры, за прошедшие годы ситуация усугубилась тем, что трудоемкие сектора строительства и сферы услуг стали в возрастающей степени полагаться на импорт рабочей силы, в то время как значительная часть собственных трудовых ресурсов утрачивается в результате открытой и скрытой эмиграции наиболее молодой и способной ее части и люмпенизации трудоспособного населения в экономически неблагополучных и «неперспективных» регионах.



Да и восприятие России — как внутри страны, так и за ее пределами, — по мере того как годы глобального военно-идеологического противостояния США и СССР уходят все дальше в историю, все больше отражает ее нынешнее состояние пусть и весомой, но периферийной и сравнительно малозначимой части мирового хозяйства, чья роль, с одной стороны, сводится преимущественно к поставкам нефти и газа, некоторых других сырьевых продуктов, а также торговле «ширпотребом» ВПК и оказанию некоторых транспортных услуг, а с другой — к потреблению товаров массового спроса. Огромный ядерный арсенал, конечно, гарантирует ей свободу от угрозы прямой военной интервенции, но он не может обеспечить России имидж высокоразвитого государства, способного претендовать на участие в мировом лидерстве — экономическом, технологическом и, как следствие, политическом. Образ России как преемника Советского Союза — «великой державы», претендовавшей на роль технологического лидера, хотя бы в некоторых ключевых областях, — постепенно трансформировался в картинку перспективной, но несопоставимо более скромной во всех отношениях экономики, стоящей в одном ряду с Индией, Китаем и Бразилией. Строго говоря, растущее ощущение глубокого разрыва между Россией, которая избавилась от ярлыка «постсоциалистической» и «переходной» экономики, но так и не смогла стать частью развитого мира, и самим этим миром, прежде всего европейскими странами, и явилось одной из важнейших причин резкого роста в эти годы антизападных настроений в российской элите.

Но самое неприятное (хотя, возможно, и самое важное) заключается в том, что в России в силу особенностей проведенных в 90-е годы реформ и, в частности, приватизации так и не сформировался класс независимых и граждански ответственных предпринимателей, который был бы способен взять на себя роль лоббиста, организатора и двигателя активных институциональных преобразований, которые только и способны переломить процесс стихийного воспроизводства застойных и ущербных форм организации экономической жизни. То есть, конечно, отдельные носители этого начала в стране есть, но они оказались не объединены ни мощной и эффективной организацией, ни адекватным политическим самосознанием, ни даже чувством словесной солидарности. А без такого класса, без его финансового, организационного и политического ресурса выстраивание широкой коалиции в поддержку реформ оказывается делом практически безнадежным. Власть же без такого давления снизу в лучшем случае занимает позицию стороннего наблюдателя, а в худшем — активно блокирует любые невыгодные для нее изменения статус-кво, рассматривая их как угрозу политической стабильности и сохранению своего особого положения.

Ни для кого не будет откровением, если я скажу, что в том числе (а возможно, и в главной степени) по этой причине вопрос о глубоких институциональных реформах сегодня оказался фактически исключен из политической повестки дня, но это, в свою очередь, означает, что страна оказалась в ловушке «периферийного капитализма» всерьез и надолго.

Собственно говоря, именно это и подвело меня к мысли о необходимости обратить более пристальное внимание на другую сторону этого сложного явления, а именно: на политический строй постсоветского российского капитализма. Сегодня мне кажется, что сформировавшиеся здесь тенденции нуждаются в более внимательном анализе, как минимум, по трем причинам.

Во-первых, это отмеченная мною выше особенность системы «периферийного капитализма», состоящая в том, что его экономика не содержит в себе самостоятельных, автономных стимулов к развитию. Она может расти под влиянием внешнего спроса, благоприятной конъюнктуры и т.д., но оказывается органически неспособной самоусложняться, искать и находить новые ниши и движущие силы для саморазвития. Перспективы преодоления этого состояния полузастоя и односторонней зависимости национальной экономики от мировых лидеров, перспективы изменения — пусть даже долгосрочные — ее места в глобальном хозяйстве в этой системе полностью завязаны на сознательную политику государства, на политическую волю и готовность власти пойти на сверхусилия, личные риски и даже жертвы во имя достижения общественно значимых целей. А это выводит нас на законы функционирования политической системы, которая обеспечивает или не обеспечивает для политического класса такие стимулы и такую возможность.

Во-вторых, это явно схематичный подход, который реально присутствует и даже господствует в обще-

ственном сознании при анализе политических реалий и закономерностей нашего общества. В большинстве случаев картина излишне упрощается, противоречивые изменения игнорируются, а мотивы и направленность действий основных субъектов выводятся из заранее принятых в качестве объяснения незамысловатых концепций. Массовое использование для этого стереотипной терминологии и абстрактных, оторванных от реальной жизни и псевдонаучных умозаключений на самом деле скорее уводит от существа вопроса, нежели способствует его пониманию. В то время как понимание сути сформировавшегося к настоящему времени в России устройства власти и пределов ее действительности имеет первостепенное значение для оценки ее перспектив и возможностей трансформации.

И, наконец, в-третьих, это малоприятный факт, состоящий в том, что последние два десятилетия, а возможно и больше, во всем мире прошли под знаком утраты прежних ориентиров и малой продуктивности (на сегодняшний день) поиска новых. Слишком многое изменилось в мировой политике после того, как закончилась холодная война и у правительств ведущих стран Запада появилась бóльшая свобода действий по сравнению со временем разгара военно-политического противостояния между НАТО и советским блоком. Прежние цели и правила поведения утратили актуальность, а определение новых затянулось и породило острые разногласия внутри прежде консолидированных элит. Да и изменения в структуре и характере экономики в этих странах, вкупе с распространением в них принципиально

новых информационных технологий, привели, как показал в том числе и финансово-экономический кризис 2007—2009 гг., к существенным изменениям в функционировании их политических систем.

Эти изменения коснулись не только стран, условно именуемых Западом, но и их отношения с остальным миром, со странами мировой капиталистической периферии. Для того чтобы представить себе, как это может сказаться на России и ее положении в мире, необходимо прийти к более четкому пониманию, что представляет из себя политический класс в России и как он соотносится со сформировавшимся в стране властным режимом. Все это и составляет задачи этой книги.

Но прежде чем приступить к ее основному содержанию, несколько замечаний общего характера.

Прежде всего, очевидно, что не все в общественном организме можно свести к экономической основе. Даже марксизм, который больше, чем какая-либо другая школа, был склонен (по крайней мере, в теории) к экономическому детерминизму, допускал известную вариативность «политической надстройки» по отношению к ее «экономическому базису», хотя и сужал до чрезвычайности ее смысл и функциональность, сводя последнюю к обслуживанию и сохранению господствующих отношений собственности.

Современные же представления о политическом устройстве общества усматривают, как правило, лишь косвенную либо самую общую зависимость принципов и практики политического управления

обществом от преобладающих в нем экономических отношений и институтов.

Так, например, принято считать, что хозяйственная конкуренция органически связана с наличием в обществе политической конкуренции, а экономические права и свободы находятся в тесной корреляции с гражданскими и политическими, причем последние являются гарантией и условиями осуществления первых. Считается также, что такие политические атрибуты политической системы, как всеобщие выборы и разделение властей, гарантируют свободное развитие рынков и рыночных механизмов и противодействуют чрезмерной концентрации собственности и возникновению хозяйственных монополий. Наконец, прямо или по умолчанию принимается, что результатом конкуренции всегда и везде является повышение эффективности — и в экономике, и в управлении обществом.

На достаточно высоком уровне абстракции все эти взаимосвязи, несомненно, присутствуют, и можно найти большое количество работ, которые «с научной достоверностью» устанавливают их при помощи математически оформленного анализа заботливо подобранного и надлежащим образом интерпретированного статистического материала.

Однако все же такая зависимость носит скорее мировоззренческий и во многом теоретический характер. Говорить о том, что классическая рыночная экономика с преобладанием частной собственности и либеральная политическая система, предполагающая свободную и никем не управляемую конкуренцию

идей, граждан и их ассоциаций, представляют собой две стороны одного общественного организма, означало бы грешить против истины и сильно огрублять сложную и не всегда рациональную конфигурацию реальных общественных отношений.

Взаимное воздействие, которое экономические отношения и политическая система несомненно оказывают друг на друга, на самом деле не является столь простым.

Прежде всего, в нем нет иногда приписываемой ему жесткости и категоричности. Отмечаемые здесь закономерности являются не однозначными, а вероятностными, и просматриваются лишь на больших совокупностях объектов, отобранных с помощью сознательно выбранных критериев. Несмотря на попытки привлечь для их доказательства продвинутой математический аппарат, они, по сути, остаются гипотезами, которые могут оказаться неверными при привлечении для анализа исходного материала, иным образом отобранного и препарированного, либо при попытке распространить их на более широкий временной горизонт.

Многое зависит здесь от интерпретации смысла и характера деятельности тех или иных институтов, которая сильно зависит от интересов и стереотипов сознания исследователей. Это вдвойне верно, когда речь идет о таких субъективных по своей природе понятиях, как свобода и несвобода, демократия, легитимность и т.п.

Кроме того, влияние политических и экономических институтов является взаимным и не обязательно однонаправленным. Так, экономика может объективно толкать развитие политических институтов в одну определенную сторону, а сами эти институты в силу тех или иных причин могут эволюционировать в противоположном направлении, заталкивая экономику в рамки совсем иных отношений. Если бы это было не так, мы бы не могли, как сегодня, наблюдать довольно большое разнообразие разного рода смешанных политических моделей, в которых одновременно действуют разные и даже несовместимые по направленности своего действия принципы и механизмы.

Так или иначе, в реальности мы всегда имеем дело со сложной системой отношений, которую невозможно точно и адекватно описать двумя-тремя расхожими штампами и характеристиками, — жизнь ведь, действительно, «богаче любой схемы», как бы банально это ни звучало. Что же касается направления движения, тем более долгосрочных трендов, то их, действительно, невозможно уловить и определить на коротком временном участке, — это направление можно определить только с достаточно большого исторического расстояния.

Возвращаясь к теме российского капитализма в его «постсоветском» издании, можно заметить, что даже сейчас, когда после начала его формирования прошло более чем двадцать лет, судьба его политической «надстройки» все еще не совсем ясна с точки зрения перспектив дальнейшей эволюции

и возможности обеспечивать экономическое и социальное развитие страны. Да, многое прояснилось, особенно в сравнении с тем, что мы имели перед собой пятнадцать или даже десять лет назад. Некоторые направления и возможности, имевшиеся тогда, остались нереализованными. Многие из них вообще исчезли с исторического горизонта безвозвратно или, по крайней мере, очень надолго. Другие, наоборот, превратились в наиболее вероятный или даже неизбежный вариант дальнейшего хода нашей политической истории, который будет перекраивать «под себя» картину возможных шагов и сценариев развития событий в каждый данный момент времени.

И все же полной ясности и детерминированности пока нет.

Конечно, многие возразят мне, что все последние десять лет политические институты в нашей стране изменялись во вполне определенном направлении — в направлении сворачивания реальной политической конкуренции, ликвидации системы сдержек и противовесов (в той мере и формах, в которых они имелись в стране в начале текущего столетия), деградации партийно-парламентской активности и правоприменительной практики с точки зрения норм парламентской демократии и правового государства. Что учет мнения и интересов различных групп и слоев общества при принятии законодательных актов последовательно уменьшался, а степень субъективизма и произвольной трактовки

норм права, равно как и селективности их применения, наоборот, увеличивался. Что роль центральной власти в принятии решений в регионах усилилась, а степень «огосударствления» в ряде сфер хозяйственной деятельности, включая деятельность средств массовой информации, с очевидностью возросла. Что сфера конкуренции заметно сузилась не только в политике и общественной жизни, но и во многих отраслях экономики, в первую очередь в добывающем и экспортном секторах.

Действительно, изменения в этом направлении происходили с разной степенью интенсивности в течение всего последнего десятилетия, и об этом я неоднократно буду говорить ниже. Однако, на мой взгляд, было бы неверно представлять рубеж столетий как своего рода «переломный момент», когда вышеназванная тенденция пришла на смену противоположной, якобы господствовавшей в предыдущее десятилетие.

Да, 1990-е годы действительно отличались большей противоречивостью и фрагментированностью властной элиты, отсутствием единой, спаянной жесткой внутренней дисциплиной доминантной группы. Да, возглавлявший в тот период исполнительную власть Б. Ельцин в большей степени полагался — был вынужден полагаться — на политическое маневрирование между различными группами интересов, что создавало иллюзию реального политического плюрализма не только в публичной сфере, но и в процессе определения курса действующей власти в самых различных областях.

Тем не менее, было бы лукавством, если не откровенным цинизмом, представлять 1990-е годы как расцвет парламентской формы правления, при которой команда занимающих ключевые государственные посты управленцев определяется посредством выборов без заранее известного результата. Тогда — точно так же, как и сейчас — такая команда определялась волей и прихотью одного человека, вынесенного (во многом случайно) волной событий на вершину административной пирамиды. И точно так же, как и сейчас, соотношение сил между отдельными группами и группировками в самой власти не имело никакого отношения к итогам волеизъявления на публичных выборах, а отражало субъективные расчеты и соображения этого человека с учетом объективных возможностей и рисков. И когда мы говорим об «антидемократических» тенденциях 2000-х гг., надо помнить, что они представляют собой отражение не столько какого-то перерождения политической машины и использовавшей ее элиты, сколько процесса консолидации и примитивизации последней в условиях, когда ей были предложены более «инерционные» и исторически привычные основы и рамки для функционирования.

Другими словами, рубеж 2000-х был отнюдь не поворотным пунктом, не моментом перемены одной логики и системы организации управления на другую, а вступлением уже сложившейся к этому рубежу системы, — системы самоотстроившейся и по-своему состоявшейся, обладающей прису-

щей ей четкой внутренней логикой, — в другую стадию, в стадию большей зрелости и, если можно так выразиться, «неприкрытости». На новой стадии основные принципы построения механизмов управления получили свое логичное завершение и сравнительно открытое оформление в виде институтов ужесточенного авторитарного государства, действующего в капиталистической среде, но на периферии глобального капитализма как мировой системы. Другими словами, то, что мы получили в итоге двадцатилетнего социального и политического развития, является системой, более или менее отражающей характер и глобальную роль российского периферийного капитализма, — своего рода «периферийный авторитаризм».

## 1. К чему мы пришли: как и почему

### «Периферийный авторитаризм» как характеристика политического строения российского капитализма

Итак, политическую систему современной России я бы рискнул охарактеризовать выражением «периферийный авторитаризм».

Сразу оговорюсь: эта характеристика в моем понимании — не инструмент обличения, не публицистический выпад в адрес власти. Я понимаю ее, прежде всего, как точное и объективное отражение нынешних российских реалий — отражение, которое не должно быть объектом оценки с сильным эмоциональным подтекстом. Все мы живем в определенной системе координат — в некоторой среде, которую необходимо понимать и пытаться использовать, а не игнорировать как изначально «неправильную».

Сказанное не означает, что к этому вопросу нельзя относиться субъективно — напротив, я считал и считаю, что и интересам страны отвечала бы глубокая политическая реформа. Реформа, которая бы имела своим результатом изменение принципов формирования власти; создание (пусть и впервые в российской истории) властной конструкции, включающей в себя сильный элемент конкуренции и деконцентрации власти; передачу значительной части властного ресурса от ее единого центра на различные уровни и различным ветвям; наконец, утверждение принципа обязательной регулярной



сменяемости власти и создание механизма всеобщей взаимной подконтрольности и ответственности за нарушение установленных процедур. Понятно, что это бы означало коренной демонтаж существующих сегодня отношений, хотя и без революционных потрясений и развала государственных институтов как таковых.

Тем не менее, я полагал бы правильным попытаться вначале точно разобраться в том, как работает сегодня машина власти, проследить ее генезис и разобраться в существующих механизмах, чтобы на этой основе направить развитие событий в стране если не в оптимальное, то хотя бы безопасное русло. А для этого нам придется, в том числе, обратиться к нашей недавней истории, прежде всего истории последнего, «путинского» десятилетия.

Как я уже говорил выше, я считаю неправильным выделять 2000-й или, как это делают многие, 2002—2003 гг. как некий водораздел, точку слома тенденции, после которой развитие политической системы в России, которое до того якобы шло по демократическому пути, переменяло направление на противоположное — сворачивания демократических институтов и всемерного ограничения политических прав и свобод. Напротив, мне представляется, что весь период с момента краха советского государства был, да и сейчас является процессом консолидации авторитарной власти бюрократии в условиях российской специфики периферийного капитализма. Но для того чтобы обосновать этот тезис, необходимо вначале разобраться с терминами и стоящими

за ними понятиями, без чего анализ политической системы оказывается совершенно бессмысленным.

Прежде чем говорить о терминологии, необходимо сделать ряд оговорок, без которых дальнейшие рассуждения могут показаться некорректными.

Прежде всего, любое рассуждение о сути и логике реально существующей политической системы неизбежно ее упрощает — на практике всегда существуют отдельные черты, явления и свойства, не вписывающиеся в выстраиваемую схему. Схема помогает понять сущностные черты и направления изменений, но она никогда не описывает, да и не может описать процесс полностью.

Например, любое пособие по теории государства обязательно содержит ссылки на его разнообразные теоретические модели — от концепции «естественного (или «общественного») договора» до модели государства как «бандита» («стационарного», «нестационарного» и пр.). Однако никому, за исключением разве что самых неадекватных «ученых мужей», не придет в голову использовать эти модели в качестве исчерпывающего объяснения реальных процессов, происходящих в политической сфере. Жизнь всегда сложнее: в политике участвуют самые разные люди с сильно различающейся мотивацией, абсолютное большинство принимаемых решений в явном или неявном виде носят компромиссный характер, а их реальное воплощение практически всегда сильно отличается от задуманного. Поэтому все дальнейшие рассуждения о политической системе в России — это не более чем попытка понять



и объяснить ее общую логику, которая пробивает себе дорогу через бесчисленные отступления от нее; через большое количество не связанных общей идеей событий и явлений.

Вторая оговорка состоит в том — и это не менее важно — что мы должны постоянно помнить: понятия, используемые для описания этой логики, не только подвергаются субъективной интерпретации, но и изменчивы во времени. То, что обозначалось тем или иным словом в один период времени, в одну историческую эпоху, может сильно отличаться от того, что под этим же словом понимается в другую. В результате вроде бы принципиальные споры о политических событиях могут иметь своим основанием всего лишь различное понимание тех или иных терминов с приданием им эмоционально завышенного значения, но не иметь при этом никакого реального содержания. В первую очередь это относится к таким понятиям, как «демократия», «равенство», «благо общества» и т.п. Многие вроде бы научные и, казалось бы, культурно апробированные термины сплошь и рядом поддаются столь широкой интерпретации, что она нарушает всю предыдущую апробацию.

С учетом этих оговорок относительно используемой терминологии можно сказать следующее.

Прежде всего, широко используемое в интеллектуальной среде для характеристики политических систем и процессов понятие «демократический» на самом деле следует употреблять с большой осторож-

ностью. В самом общем виде это понятие слишком абстрактно, а применительно к конкретным ситуациям — субъективно и неопределенно. Оно скорее употребляется в качестве своеобразного маркера («свой—чужой»), нежели для обозначения совокупности конкретных признаков или политических механизмов.

Как мы знаем из истории, ни один из механизмов, ассоциируемых нынешним западным интеллектуальным мейнстримом с этим словом, — будь то всеобщие выборы, наличие политических партий или отсутствие уголовных наказаний за политические высказывания или критику официальной власти, — не может быть взят за универсальный признак демократии или элемент, ее определяющий. Более того, даже в совокупности эти элементы могут составлять политические системы с принципиально разным духом и направленностью, так что разделение государств на «демократические» и «недемократические» все равно в итоге сводится к делению их на «наши» и не «наши», на «хорошие» и «плохие».

Более содержательной с точки зрения характеристики политических систем является другая пара понятий — конкурентная (или состязательная) система, то есть система, в основе которой лежит открытое соревнование политических групп при наличии механизма взаимных сдержек, и система авторитарная, при которой власть не является предметом открытой, легальной конкурентной борьбы. В первом случае власть так или иначе распределена

между разными, чаще всего альтернативными центрами силы, во втором — монопольно осуществляется одним лидером или корпорацией.

Соответственно, различаются и механизмы перехода власти от одной группы к другой. Если в первом случае он осуществляется при помощи признаваемых всеми группами выборных механизмов, над которыми ни одна из групп не имеет эффективного монопольного контроля, то во втором власть передается субъективным решением правящей группы или ее лидера исходя из конкретного соотношения сил. При этом конкретные формы соответствующих механизмов не так принципиальны. В авторитарной системе власть можно передать простым назначением, можно — через осуществляемое или контролируемое сверху изменение (реформирование) механизмов управления, а можно и через всеобщие выборы, если имеется возможность запрограммировать их результат. В конкурентной системе можно использовать любую из десятков и даже сотен вариантов избирательных систем — прямых и косвенных, прямых и многоступенчатых; с различным кругом субъектов и объектов голосования. Даже число и характер устанавливаемых ограничений не имеет критического значения — главное, чтобы система обеспечивала возможность институционально обусловленного в правовом и общественном плане прозрачного ухода от власти правящей команды или группы, невозможности для нее самой конъюнктурно устанавливать себе сроки нахождения у власти и невозможности детерминированного определения преемников. Иначе говоря, система должна га-

рантировать вынужденный, недобровольный уход правящей группировки от власти без возможности самой определить преемника и обеспечить его приход к власти.

Естественно, что условием для этого является отсутствие эффективной монополии на власть у какой-то одной группы, распределенность ее как минимум между двумя-тремя, а то и большим числом групп, имеющих в своем распоряжении необходимые законные инструменты организованного принуждения. Соответственно, конкурентные политические системы характеризуются в первую очередь тем, что в такой системе ни один человек или группа людей не обладают всей полнотой власти и не могут принимать решения без оглядки на то, как к ним отнесутся другие группы и силы. А самое главное — в такой системе заложены механизмы противодействия попыткам узурпации власти. Другими словами, любой человек или группа людей, имеющие доступ к рычагам власти, сознают, что их попытка выйти «за флажки» немедленно приводит в действие механизмы, результатом которых станет применение к ним законного организованного насилия.

Конкурентную политическую систему можно условно называть, как это часто и делают, «демократической». Однако при этом важно помнить, что слово «демократия» в этом контексте примерно так же соотносится с понятием «народовластие», как действующие в реальной экономике субъекты — с идеальным «хомо экономикус» из классической экономической теории — воображаемым существом

из учебника, не имеющим в реальности телесного аналога. Другими словами, мы можем пользоваться этим определением с тем пониманием, что его фактический смысл в данном случае имеет мало общего с формальным определением. Во всяком случае, здесь он не означает ни «власть народа», ни «власть для народа», ни даже «власть в интересах народа» — это просто характеристика устройства политической системы, при которой власть не концентрируется в руках одной группы элиты, а распределена между несколькими группами согласно определенным правилам, которые гарантируют ее сменяемость и опору на компромисс между группами, а не подчинение всех воле и интересам одной доминирующей группы.

Так или иначе, конкурентные и авторитарные системы власти примерно в равной степени распространены сегодня в окружающем нас мире, и вывести закон, по которому они формируются и порою меняются на противоположные, на мой взгляд, не удалось никому — во всяком случае, не удалось сделать ясно и убедительно.

Конечно, теорий на этот счет имеется огромное количество. Более того, стихийно сформировавшееся неформальное сообщество профессиональных экономистов-политологов перебрало чуть ли не все возможные варианты взаимосвязей между типами политических систем и такими факторами, как уровень доходов и богатства, темпы экономического роста и его качество, фаза экономического цикла и др., формулируя разнообразные гипотезы и при-

сваивая им собственные имена<sup>2</sup>. Однако на каждую гипотезу находится контргипотеза, а общий вопрос о том, что первично — демократия или экономический рост, давно уже поднят на такую теоретическую высоту, что любые попытки сделать из него практические выводы давно уже не воспринимаются всерьез.

Более того, в ряде случаев не всегда удается привести четкую грань между конкурентной и авторитарной системами власти. Хотя бы уже потому, что существует достаточно много «пограничных» состояний, когда однозначной монополии одной группы на весь властный ресурс в обществе нет, но преимущество правящей группы в распределении ресурсов в обществе настолько велико, что противостоящие ей группы реально не могут выступить в роли эффективных сдержек и противовесов. В этих случаях классификация той или иной конкретной системы может зависеть от субъективных оценок наблюдателей и их личных пристрастий. Кроме того, как я уже говорил, ситуация может достаточно быстро меняться, и момент перехода из одного состояния, одной логики функционирования системы в другую бывает трудно уловить и зафиксировать.

Наконец, любого, кто стремится видеть ситуацию объективно и мыслить в серьезных категориях, излишняя категоричность суждений и приверженность к крайним, сильно окрашенным в эмоциональном

2 Желаящие могут, например, обратиться к статье С. Гуриева и О. Цывинского «Ratio eonomica: Демократичный кризис», где дается далеко не полный, но обширный перечень таких гипотез («Ведомости», 28.08.2012, №161 (3175)).

отношении формулировкам (типа «антинародной диктатуры» или «тирании») или же к размашистым историческим аналогиям — должна, как минимум, настораживать. Стремление спрятаться за хлесткими формулировками, чаще всего, скрывает недостаток информации и знания ситуации: как было сказано в одном из классических литературных произведений, «правда редко бывает чистой, и никогда — простой». Разумеется, это не означает отрицания необходимости гражданской позиции и вынесения моральных суждений, но любой процесс и явление должны рассматриваться комплексно, со всеми нюансами, полутонами и противоречиями.

Второй момент, или характеристика политических систем, который я хотел бы здесь отметить, — это их отношение к понятиям «общественное благо» и «общественные цели». Вопрос этот далеко не праздный — и в широком общественном сознании, и в восприятии исследователей, которые считаются авторитетами в области изучения общественных систем, преобладает убеждение, что классификация политической системы как конкурентной («демократической») или авторитарной не имеет жесткой связи с преследованием ею общенациональных целей (в виде ускоренного экономического роста; технической и социальной модернизации страны и т.п.), которые могут так или иначе быть увязаны с понятием «блага общества».

С одной стороны, в истории можно найти немало примеров того, как свобода политической деятельности, вполне конкурентные выборы, сменяемость

(и даже очень частая) власти, не говоря уже о свободе слова и печати, соседствовали с тотальной коррупцией, полным безразличием власти к нуждам общества, падением общественной дисциплины и морали, ухудшением общественного порядка и безопасности. Лучшая тому иллюстрация — Соединенные Штаты начала прошлого века. После Второй мировой войны конкурентные политические системы оказывались слабым лекарством от коррупции и неэффективности и в развитом (Италия), и в развивающемся (Индия, Бразилия) мире.

И наоборот, есть примеры авторитарных модернизаций — Сингапур, Турция, Южная Корея, отчасти — Япония, где на протяжении всего периода высоких темпов роста власть бесценно находилась в руках фактически одной политической силы, в то время как другие значимые политические группы подвергались целенаправленной дискредитации. Последним по времени примером считающейся хотя бы отчасти удачной модернизации в условиях однозначно авторитарной политической системы является континентальный Китай (а возможно, и Вьетнам).

В западном интеллектуальном мейнстриме возможность ускоренного роста и модернизации в условиях авторитарного режима принято рассматривать как опцию, применимую только к странам, отставшим в своем экономическом, технологическом и социальном развитии, и только в исторически короткий период так называемого «догоняющего роста», когда промежуточные цели достаточно очевидны и могут быть сравнительно легко формализованы

и превращены в политические задачи авторитарного государства<sup>3</sup>. По-видимому, это правда, но и с этими оговорками остается истинным факт несоответствия характеристик политического режима относительно степени его конкурентности, с одной стороны, и степени его эффективности для решения крупных общественных задач — с другой, на достаточно длительных отрезках истории.

Более того, некоторые авторитеты, например нобелевский лауреат (2005 г.) экономист Роберт Ауманн, считают, что более длительные временные горизонты объективно позволяют авторитарным режимам легче решать модернизационные задачи — при условии, конечно, что они не развращены неподотчетностью и бесконтрольностью собственной власти<sup>4</sup>. Часто цитируемые в соответствующей литературе авторы Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон также утверждают, что угроза революции может побуждать элиты в авторитарных системах уменьшать свои требования, рационализировать расходы и производить больше общественных благ<sup>5</sup>.

3 Такого рода авторитарные режимы, иногда называемые в западной литературе «диктатурой развития», в XX веке рассматривались ими самими как попытка вырвать свои страны из мирового пояса отсталости и попытка приблизиться к развитому ядру мировой системы или даже войти в него. Одной из таких диктатур можно, по-видимому, считать и СССР, по крайней мере на некоторых этапах его исторического пути.

4 Роберт Ауманн. «Я не уверен, что демократия более эффективна». Интервью / «Ведомости», 03.07.2012, №121 (3135).

5 Acemoglu D., Robinson J.A. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006; Idem. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. London: Profile, 2012.

Однако все рассуждения подобного плана, конечно, отражают лишь теоретические послышки, и практическая польза от них если и есть, то весьма скромная. Понятно, конечно, что никакой жесткой связи между формой власти и ее мотивацией нет, и наличие модернизационной мотивации у правящей группы, если оно есть, связано, скорее, с общим настроем в рядах политической и экономической элиты и с личными особенностями ее наиболее активных представителей. Понятно и то, что огромную роль играет в этом отношении весь предшествующий опыт страны, ее исторический путь, а также особенности структуры ее экономики, характер включенности в мировую экономику и международные политические структуры и т.д.

Обо всем этом у меня еще будет возможность порассуждать более подробно применительно к России, пока же ограничусь констатацией того факта, что нацеленность политической системы на достижение целей, связанных с экономическим ростом и модернизацией, представляет собой совершенно отдельную ее характеристику, заслуживающую отдельного анализа.

Наконец, третий момент, о котором стоит упомянуть в этой части, т.е. в связи с используемой классификацией систем и сопутствующей терминологией, — это характер равновесия и вектор эволюции той или иной политической модели или режима. Оставляя на время вопрос о причинах и движущих силах, определяющих путь развития конкретной системы политических отношений, можно

констатировать, что система может быть динамичной, если отдельные элементы изменяются в соответствии с требованиями жизни, ликвидируя возникающие препятствия на пути развития общества и создавая востребуемые им новые институты, а может быть системой застойного или консервирующего типа, в рамках которой действуют силы и механизмы, по сути препятствующие изменениям внутри системы, гасящие любые импульсы к изменениям, поступающие извне, и постоянно возвращающие ее в состояние застойного равновесия.

Системы первого типа, как это явствует уже из определения, способны к эволюционному саморегулированию, что позволяет им предотвращать сильные общественные потрясения и сопутствующие им шоки на сравнительно длинных исторических дистанциях. Чаще всего — это режимы, которые даже при всей возможной авторитарности не забывают о необходимости микшировать противоречивые интересы и различные подходы внутри политического класса посредством диалога и поиска работоспособного компромисса. При том что в качестве инструмента такого компромисса эффективней всего использовать разделение властей и механизмы парламентской демократии, последние не являются единственным и незаменимым инструментом такого согласования.

Системы же второго, застойного или демодернизационного типа имеют своим неизбежным следствием социальные и политические пертурбации взрывного, революционного характера. Обеспе-

чивая видимую (а точнее, мнимую) стабильность на относительно коротком историческом горизонте, они не разрешают возникающие противоречия, а накапливают их до тех пор, пока те не приобретают масштабы, практически несовместимые с нормальным функционированием институтов собственно самой системы, и вызывают серьезный политический кризис. Разрешение кризиса, если только его не удастся отложить на время посредством каких-то паллиативных мер популистского или/и репрессивного характера, приводит, в лучшем случае, к краху системы и замене ее на новую, более адекватную потребностям текущего момента. Либо, в худшем варианте, оно имеет своим следствием крах государственности в ее прежнем виде и начало строительства новых государственных институтов с «нуля», а то и с отрицательных значений. Эти классифицирующие характеристики также, строго говоря, не связаны жестко и однозначно со степенью конкурентности или авторитарности конкретной политической системы. «Демократические» модели государственного устройства могут оказаться в конкретной исторической ситуации не адекватными вызовам времени и, не предоставляя обществу механизмов для радикальных (или кажущихся радикальными) шагов и преобразований, стать в итоге фактором глубоких политических кризисов с долгосрочными последствиями. Перечень исторических примеров может включать в себя, например, Веймарскую Германию, Чили и Аргентину середины 70-х гг. прошлого века или до некоторой степени — погрязшую в многочисленных

противоречиях и экономических проблемах современную Грецию.

Правда, чаще авторитарные режимы не способны справиться с государственными функциями — обилие таких примеров можно найти в Африке и Латинской Америке. При этом, как правило, на смену «провалившимся» режимам приходят режимы того же типа — некоторым из них удастся заметно повысить качество государственного управления и хотя бы частично решить проблемы, приведшие к состоянию кризиса, другие же оказываются столь же бессильными и через некоторое время повторяют судьбу своих предшественников.

Есть, однако, и примеры иного рода — авторитарные модели, которые относительно безболезненно переживают необходимые изменения, придающие им большую гибкость и адаптивность, позволяющие усложнить механизмы контроля. В ряде случаев (хотя и не во всех) результатом этого становится постепенная «демократизация» — расширение функций представительских учреждений, усиление состязательных элементов, размывание монополии правящей группы на властный ресурс, в том числе на контроль над институтами государственного принуждения, повышение самостоятельной роли и функций судебной системы и деполитизация правоохранительных органов. В частности, подобные процессы наблюдались в позднефранкистской Испании, в Южной Корее и ряде других азиатских автократий. Хотя, разумеется, имеются и примеры обратных процессов — вырождения

представительских институтов и превращения конкурентных систем в авторитарные режимы разной степени жесткости.

## 1990-е годы: а был ли «золотой век»?

С учетом всего вышесказанного я хотел бы обратиться вначале к истории 1990-х годов как периода, когда после стремительного краха советской государственности на зыбкой почве неработающих институтов и полной сумятицы в головах законодателей и представителей силовых структур началось формирование будущего политического строя России.

Для тех, кто забыл или не застал первые постсоветские годы, хочу напомнить: даже если оставить в стороне вопрос о степени контроля властей за реальной ситуацией в стране, даже если предположить, что формально существовавшие институты действительно работали и определяли реальное положение дел в стране, — даже в этом случае возникшая на бумаге в 1991—1992 гг. политическая система «новой России» была в перспективе заведомо нежизнеспособна.

То, что в конце 1980-х годов казалось пробуждением демократии — а именно: создание все новых институтов, к которым перетекали, по крайней мере внешне, функции обсуждения и принятия решений, имело позитивное значение в том смысле, что было формой мирной революции, но вовсе не носило универсально позитивный характер для долгосрочной перспективы. Там быстро вызревало большое количество правовых и институциональных коллизий, неопределенность ряда важных процедур, связан-

ных с механизмом принятия и реализации решений, а также контроля за их исполнением.

Одно только перечисление этих коллизий и неопределенностей может занять несколько страниц. Двусмысленное положение Съезда народных депутатов, которое во многом и привело в 1993 г. к выходу его противостояния с президентом и правительством за пределы правовых процедур и поставило страну на грань масштабного внутреннего вооруженного конфликта. Крайняя размытость границ между законотворческой и административно-управленческой деятельностью, имевшая следствием ситуацию подчас полной неопределенности для низовых звеньев исполнительной и судебной власти, для силовых структур. Откровенная слабость судебной власти и отсутствие эффективного механизма реализации ее решений, что делало практически неограниченным поле всевозможных злоупотреблений и невозможным использование суда в качестве арбитра и дисциплинирующей силы. Уже тогда, в 1992—1993 гг., активно поощрялась атмосфера правового нигилизма, когда универсальные и долгосрочные юридически обязывающие нормы подменялись индивидуальными и временными договоренностями между административными и хозяйствующими субъектами. Самоустранение правоохранительных органов от обеспечения исполнения хозяйственных договоров и контрактов и неопределенность правил поведения, которые могли бы обеспечивать нормальную хозяйственную деятельность. Далее нельзя не упомянуть и породившую огромную неопределенность ситуацию юридической



ликвидации единого Советского Союза при фактическом сохранении в течение некоторого периода времени, без каких бы то ни было специальных договоров<sup>6</sup> общей денежной и таможенной систем, единого управления транспортной и энергетической инфраструктурой. Неопределенность юридических оснований для управления этими общими системами, в свою очередь, породила все то же превалирование индивидуальных договоренностей над правовыми нормами; ложное понимание демократии как свободы воли в отсутствие надлежащим образом установленных устойчивых общих правил и процедур.

Уже перечисленное говорит о том, что стихийно возникшее в результате распада советской власти политическое образование было лишено упорядочивающего стержня и не могло претендовать на устойчивость — ни в краткосрочном, ни в долгосрочном отношении. Для того чтобы приобрести хотя бы относительную устойчивость, оно обязательно должно было эволюционировать в том или ином направлении, поскольку только это позволило бы снять наиболее острые коллизии и накопить

<sup>6</sup> Договор об экономическом союзе независимых государств — бывших союзных республик, предполагавший сохранить общую денежную систему, создать зону свободной торговли, общее таможенное пространство, сохранить кооперацию предприятий, скоординировать экономическое законодательство и т.п., был подготовлен мною осенью 1991 года и подписан в Кремле на высшем уровне с участием М.С. Горбачёва и представителей руководства 13 бывших союзных республик, в том числе Украины и Казахстана (кроме Азербайджана и Грузии). Балтийские государства подписали Договор в качестве наблюдателей. Были подготовлены и согласованы с правительствами — подписантами Договора более 60 нормативных актов, реализующих экономический Договор. Беловежские соглашения сделали невозможным продолжение этой работы.

инерцию, предотвращающую непредсказуемые шараханья и колебания. Эта эволюция, собственно говоря, и составляет содержание первого этапа постсоветской политической истории России, занявшего большую часть 1990-х годов.

При этом первая и, пожалуй, наиболее важная историческая развилка этого периода состояла в выборе между политической системой конкурентного или авторитарного типа. Этот выбор, на мой взгляд, более или менее определился при принятии Конституции России в октябре—декабре 1993 года, а затем окончательно утвердился накануне и в ходе президентских выборов 1996 года и следующего за ними периода. Именно тогда уже стало очевидным, что при сохранении политического плюрализма и при наличии в элите, как минимум, нескольких групп и представляющих их политических команд отсутствовало минимально необходимое реальное разделение между ними властного ресурса, без чего невозможно существование работоспособного механизма взаимных сдержек и противовесов. Концентрация ресурсов в руках доминантной группы, сформировавшейся вокруг президентской администрации, оказалась достаточной для того, чтобы манипулировать всеми остальными группами, не давая им шанс реально претендовать не только на то, чтобы сменить правящую команду, но и на какое бы то ни было действительное влияние на нее. Даже решившись (хотя и не без серьезных колебаний) провести выборы, формально подразумевавшие возможность ненасильственной, но недобровольной смены этой команды, она исходила из приемлемости

только одного исхода этих выборов, который и был гарантировано обеспечен использованием всех видов властных ресурсов, находившихся в ее распоряжении. Естественно, сегодня те, кто в силу тех или иных причин представляет 1990-е годы как период невиданного в российской истории расцвета демократии (в комплиментарном значении этого слова), склонны умалчивать о том, что никто в тогдашней правящей команде не допускал и мысли о том, чтобы добровольно отдать власть альтернативной группе на основании получения такой группой на выборах большего числа голосов избирателей.

Участвуя в выборах 1996 года, я исходил из этой реальности. Моя цель была существенно скорректировать российскую политику. Задачу я видел в том, чтобы, предложив стране альтернативу полукриминальному экономическому курсу Бориса Ельцина, в частности мошенническим залоговым аукционам, остановить создание олигархической системы, основанной на слиянии бизнеса, собственности и власти, противостоять коррупции и войне на Северном Кавказе и на этой основе занять третье место в ходе выборов, а затем выдвинуть условием поддержки Ельцина во втором туре назначение меня премьер-министром с целью серьезных изменений в экономической и кадровой политике. Эта единственная реальная возможность коррекции политического и экономического курса Ельцина была заблокирована олигархической группой Анатолия Чубайса и Бориса Березовского с помощью мощного информационного и финансового вливания в генерала Александра Лебеда, обеспечения

ему третьего места на выборах и затем, почти немедленно после них, уничтожения его как политически значимой фигуры.

Естественно, трудно сказать, к каким именно средствам прибегла бы власть, если бы задействованные в тот момент ресурсы не смогли обеспечить приемлемый для нее результат. Впрочем, остается не до конца ясным и вопрос о том, какие именно властные ресурсы и в каком объеме были тогда фактически задействованы, чтобы обеспечить предсказуемость результата, неясным даже сегодня, когда с момента этих выборов, — первых выборов, которые теоретически могли решить судьбу управляющей страной политической команды, — прошло уже почти двадцать лет. Главные действующие лица того периода периодически намекали на наличие каких-то тайн или, как минимум, недосказанностей относительно периода, непосредственно предшествовавшего выборам, а также планов, разработанных на случай неблагоприятного развития событий. Тем не менее я уверен, что вопрос о передаче власти альтернативной группе по итогам выборов не рассматривался в правящей команде как реальный и вероятный.

Таким образом, уже тогда сформировался первый и главный признак авторитарной политической системы, о котором я уже сказал выше. А именно: невозможность «снизу», то есть силами вне доминантной группы, мирным и законным путем обеспечить недобровольное отстранение от власти одной команды и замену ее другой. Повторяю —

это не значит, что такой путь не существует на бумаге, и огромная часть авторитарных режимов периодически проводит выборы различных уровней, которые теоретически не исключают возможности победы на них оппозиционных сил. Однако до тех пор, пока занимающая командные высоты группа (чаще всего объединенная вокруг реального или формального лидера) имеет монополию на административный и силовой ресурс, она имеет реальную возможность свести к нулю вероятность недобровольной смены правящей команды. В таких условиях даже получение оппозицией поддержки большей части голосующего населения никогда не транслируется в официально признанное поражение правящей группы с вытекающими отсюда организационными последствиями.

Но и эта ситуация — ситуация утраты авторитарной властью формальной поддержки большинства населения — возможна только в результате очень сильных воздействий сил и обстоятельств как извне, так и изнутри системы. В обычных же условиях большая часть общества, прежде всего, его политически пассивная часть, даже при минимальном пропагандистском и административном воздействии на нее, склонна оказывать требуемую поддержку существующей власти и способу правления.

Так происходило и происходит в похожих случаях по всему миру. Строго говоря, то центральное, можно даже сказать культовое место, которое либерально-конкурентная модель политической системы занимает в интеллектуальном сознании

мировых элит и в соответствующей научной или околонаучной литературе, есть скорее следствие финансовой и технической мощи группы стран, в которой эта модель утвердилась, нежели ее распространенности во всемирном масштабе. Часто упускается из виду то, что, несомненно, большая часть людей на планете живет сегодня в странах с авторитарной системой управления разной степени репрессивности, эффективности и политических возможностей. И далеко не всегда она принимает самые крайние уродливые формы «кровавой тирании» или тотального контроля над жизнью общества. В немалом числе случаев авторитарная система не исключает более или менее раскрепощенную, однако при этом непременно деполитизированную, частную жизнь находящегося под ее управлением населения — далекою от идеалов эффективности и разнообразия, зажатую чрезмерным субъективным регулированием, а в некоторых случаях и идеологическими мифологемами, но, тем не менее, относительно мирную и стабильную, дающую некоторый ограниченный простор для реализации личных желаний и способностей.

Именно такого рода авторитарная политическая система и сложилась в основных своих чертах в России 1990-х. И если президентские выборы 1996 г. еще содержали в себе возможность, пусть даже и маловероятную, ухода страны на иную траекторию — траекторию, в конце которой маячила перспектива выхода страны к либеральной конкурентной политической системе, то в 1996—1999 гг. вероятность смены траектории на нынешнем витке

исторической спирали упала до статистически пре-небрежимых пределов. Для того чтобы такая смена траектории все-таки произошла, теперь требуется, чтобы Россия прошла через период очень серьезного переосмысления, способного положить начало новому витку ее истории.

Но можно вспомнить и некоторые не часто вспоминаемые, а подчас не всем известные «этапы» всего этого процесса. Это гиперинфляция 1992 года, возникшая в результате либерализации цен в условиях тотальной государственной собственности в сверхмонополизированной экономике, приведшая к конфискации 100% денежных сбережений населения, его полному и стремительному обнищанию. Силовое решение 1993 года противостояния президента с Верховным Советом с последующей политической интеграцией значительной части националистов и «левых» и сомнительное внедискуссионное принятие авторитарной по своей сути и логике конституции. Война 1994 года в Чечне, приведшая к гибели многих тысяч людей, разрушившая то небольшое позитивное, что осталось на социально-психологическом уровне от советской эпохи — общественный стандарт интернационализма, по крайней мере на уровне внешнего поведения, консолидировавшая милитаризм в номенклатуре и уронившая международную репутацию России, заставив многих в мире снова думать о возможности военной угрозы со стороны Москвы и планировать новые разделительные линии в Европе. Начавшаяся в 1995 году мошенническая «приватизация», а по

существо почти бесплатная передача наиболее важных для экономики объектов государственной собственности узкой группе приближенных к власти лиц путем так называемых «залоговых аукционов», заложившая фундамент нелегитимности частной собственности в России, слиянию власти и собственности, ликвидации независимого финансирования гражданского общества. Откровенное противопоставление в 1996 году кандидата в президенты от правящей группы (Б. Ельцина) всем остальным по принципу «свой—чужой», или «кто не с нами — тот против нас». Продолжение и после выборов «наградной» бесплатной раздачи лакомых активов в награду за оказанные услуги, намертво повязавшей лидеров новой российской буржуазии с политическим руководством. Это начало практики раздачи государственных должностей на «кормление» в обмен на личное служение. Это, далее, активное стремление привязать патриотические чувства к идее служения лично главе государства (подмеченная еще Салтыковым-Щедриным привычка путать Отечество с Его Превосходительством). Это, что крайне важно, панический страх возможности разделения лояльности элит между соперничающими группировками внутри доминантной группы, вылившийся в откровенное удушение наметившегося было альтернативного «проекта» Лужкова—Примакова. Это, наконец, создание института «преемничества», когда уходивший президент публично объявил единственного кандидата на свою должность от правящей группы и наделил его всеми имеющимися в ее распоряжении ресурсами и возможностями.

Последнее, кстати, означало окончательное закрепление в России второго главного признака авторитарной системы — передачи власти в режиме личного наследования без каких-либо форм публичной состязательности. Другими словами, риск недобровольной смены правящей команды убирается не только из избирательного процесса, но и из процесса смены руководства по причинам личностно-биологического характера. Причем это произошло хотя и по инициативе правящей команды, руководствовавшейся своими личными (как выяснилось впоследствии, не совсем верными) расчетами, но все же с одобрения, по крайней мере молчаливого, всего общества. Вне зависимости от наличия институтов выборов, свободы политической организации и высказываний, общество в целом и его политический класс в особенности с конца 1990-х стали воспринимать как данность, что правящая группа не считает для себя необходимым и не будет ставить свою власть и свою судьбу в зависимость от реальных результатов неконтролируемого народного волеизъявления на всеобщих выборах.

Но дело, конечно, было не только и не столько в общественном сознании. Приблизительно тогда же стало очевидным, что в процессе постсоветской трансформации в стране так и не возникли институты, способные выполнять функции самостоятельных ветвей власти и обладающие возможностью добиваться исполнения своих решений, если те противоречат интересам или желаниям доминирующей группы. И представительные органы,

и судебная система не смогли обзавестись достаточным силовым ресурсом или поддержкой, чтобы стать реальным противовесом административным органам и стихийно формировавшимся вокруг них неформальным корпорациям полукриминального толка, да и вполне криминального характера, опиравшимся на механизмы насилия. Собственно, уже в то время «строительство правового государства» превратилось, в лучшем случае, в благое пожелание, а в худшем — в лицемерное прикрытие фактического признания права силы как государствообразующего механизма.

Соответственно, любые альтернативные претенденты на власть не имели возможности опереться на сколько-нибудь работоспособные институты. Единственным для них способом создать себе реальную опору было бы выстраивание собственных организованных структур, обладающих силовым и административным ресурсом, но это заключало бы в себе риски для государственности как таковой и было отвергнуто всеми ответственными политиками и общественными деятелями. В таких условиях страна, по существу, стояла перед выбором между очевидно очень плохим и еще худшим, поскольку выбор в пользу политической конкуренции с опорой на неправовую силу, что означало бы, по сути, состояние гражданской войны, пусть и в каких-то смягченных формах, и что, скорее всего, привело бы к еще более тяжким последствиям, нежели даже те, что мы имеем сегодня перед нашими глазами.

Правда, некоторые считают, что в силу меньшей степени концентрации силового ресурса в центре сложившейся к тому времени политической системы она была менее управляемой, а значит — более демократичной по сравнению с ее же версией образца второй половины 2000-х гг. Учитывая, что такой взгляд достаточно часто можно встретить в среде либерально настроенной интеллигенции, хотелось бы его прокомментировать.

Это замечание действительно справедливо в той его части, которая говорит об общей слабой управляемости тогдашней социально-экономической ситуацией. Однако построить эффективную конкурентную систему на основе слабой управляемости невозможно в принципе. Власть конфликтующих друг с другом «полевых командиров» — плохая замена конкуренции команд, имеющих в той или иной мере квалифицированных управляющих сложной государственной машиной. Политический плюрализм является отражением демократических ценностей в политике лишь при ряде дополнительных условий.

В первую очередь, это наличие в стране относительно эффективно работающих институтов, которые делают плюрализм не самоцелью, а силой, дисциплинирующей институты и повышающей их ответственность за происходящие в обществе процессы. И если такие институты отсутствуют, — а их не было в России образца конца 1990-х гг., как нет их и сейчас, — то все разговоры об «украденной» в 2000-е годы демократии лишаются смысла. Един-

ственное, что остается в сухом остатке, — это то, что тогда у власти и около нее были люди, более близкие либеральной части советской интеллигенции с точки зрения ее политической культуры, идеологии и мифологии, нежели политическая команда, пришедшая им на смену в 2000-е годы. Но если оставаться на позициях добросовестного объективного анализа того, что мы имели тогда и имеем сейчас, то, на мой взгляд, нельзя не видеть, что 1990-е годы были не более чем ранней, незрелой стадией того же «периферийного авторитаризма», который приобрел более законченные формы за прошедшие тринадцать—четырнадцать лет нынешнего столетия. (О том, почему этот авторитаризм можно обозначить словом «периферийный», мы поговорим чуть позже.)

Возвращаясь к разговору о том, почему развитие политической системы в России в 1990-е годы пошло именно по этому пути, я бы хотел отметить несколько моментов, которые делали формирование в стране конкурентной модели «западного» образца крайне затруднительным и потому маловероятным вариантом развития событий.

Прежде всего, 1990-е годы, и в первую очередь в критически важный период их первой половины, отсутствовало главное условие формирования работоспособной системы, основанной на конкуренции политических сил. А именно: отсутствовал консенсус элит по поводу самых общих, самых фундаментальных правил и положений, вокруг и на основе которых должна была формироваться будущая

политическая и экономическая система «новой» России. Полярные точки зрения существовали, — причем отнюдь не на маргинальном уровне, а среди наиболее влиятельной части российского общества, имевшей в своем распоряжении крупные экономические, административные и информационные ресурсы, — по таким основополагающим вопросам, как судьба постсоциалистической государственной собственности; легитимные способы приобретения и степень неприкосновенности крупной частной собственности; сферы, в которых допустимы рыночные отношения и частная собственность, в том числе собственность иностранных государств и лиц. Это также касалось понимания государственного суверенитета и его возможных пределов как по отношению к внешнему миру, так и в отношении собственных граждан. В частности, это представление о принципиальных границах прав гражданина в соотношении с интересами государства и пределы возможного ограничения государством индивидуальных свобод. Другими словами, это те вопросы, которые, как правило, выносятся за рамки конкурентных политических систем, поскольку представляют собой исторически складывающийся внутри-элитный консенсус, который не может и не должен ставиться в зависимость от результатов всеобщего голосования.

В принципе, вопрос о «пределах демократии» (то есть вопрос о том, какие вещи могут быть объектом спора и инструментом конкурентной борьбы между соперничающими группами в рамках конкурентной

политической системы, а какие — нет), а точнее, решенность этого вопроса и наличие механизмов, обеспечивающих соблюдение этого согласия, на деле является предпосылкой, условием существования и нормального функционирования конкурентной системы. Если в правящем классе или в совокупности элит в обществе отсутствует согласие по этому вопросу, то конкурентная политическая система существовать не может, во всяком случае, на протяжении периода, превышающего один избирательный цикл.

Весь имеющийся опыт, если рассматривать его объективно и не подгонять под собственные пристрастия, говорит о том, что конкурентные политические системы устойчиво и относительно эффективно функционируют в ситуациях, когда соперничающие группы делают предметом публичного спора и, соответственно, выносят на суд избирателя вопросы, не затрагивающие фундамента существующих в обществе отношений, не сотрясающие его основы. И наоборот, чем больше и глубже область разногласий между отдельными частями политической весомой части общества — той его части, которую в современной западной литературе принято обозначать термином «политический класс», — тем больше мотивов у правящей в данный момент группы лишить своих конкурентов шанса пересмотреть уже сделанный выбор в ходе следующего цикла. А уж если эти разногласия затрагивают самые существенные, самые фундаментальные и жизненно важные отношения в обществе, то готовность

признать за всеобщим свободным голосованием роль верховного арбитра в споре между группами может вообще «стремиться к нулевым значениям»<sup>7</sup>.

Уже по этой причине шансы на формирование в начале 1990-х годов в России классической конкурентной политической модели со всеми ее демократическими атрибутами в виде законопослушных партий, относительно чистыми формами политического соперничества и выборов с честным подсчетом голосов и непредсказуемым результатом были крайне малы. Уж слишком велика была пропасть между представлениями отдельных групп российского политического класса о том, как должно было быть устроено будущее российское общество и каковы должны быть его средне- и долгосрочные интересы. И, кстати, именно в этом причина того, что в бывших прибалтийских советских республиках, — при том, что и их вновь обретенный капитализм, по большому счету, является периферийным, — при всех трудностях и изъянах конкурентная мо-

<sup>7</sup> В этой связи стоит заметить (в более общем плане), что смысл выборов как института очень сильно зависит не только от честности самой процедуры (хотя она, безусловно, важна), но и от того, что является их итогом; от того, как меняется в их результате картина власти. Одна ситуация — когда результатом является определенная, но не кардинальная подвижка в соотношении сил во власти. То есть победившая на выборах команда получает возможность заполнить своими людьми определенные административные посты, но не получает в свои руки всю власть в системе — проигравшие силы сохраняют свои позиции в других ветвях и на других уровнях государственной власти; возможность пользоваться информационно-пропагандистскими ресурсами; результативно оспаривать решения победившей команды в судебных инстанциях и т.д. И совсем другое дело, если победивший получает все, не оставляя ничего побежденному. То есть формально единый институт — выборы — может скрывать за собой принципиально различные принципы организации власти в обществе.

дель все-таки прижилась и заработала, а в России и большинстве других стран бывшего СССР — нет.

Этот фактор был, возможно, самым существенным для логики формирования в России в 1990-е годы политической системы авторитарного, а не конкурентного типа. Но, конечно же, не единственным: на вышеназванную принципиальную причину, несомненно, наложилось также действие ряда других факторов.

В частности, мне доводилось писать о том, что в России еще с начала XX века наблюдалось нарастающее отставание эволюции государства от потребностей общественного развития и от сознания выражавшей эти потребности образованной части общества. Несмотря на то, что российское общество было готово к модернизационному рывку и имело реальные исторические шансы его выполнить, государство на определенном этапе застыло, оказалось чересчур ригидным и тем самым не позволило этим шансам успешно материализоваться. Архаичность государственных форм к началу XX века выступила реальным тормозом экономического и политического развития страны и отчасти — источником и причиной того острого кризиса, с которым само это государство не сумело совладать в 1917—1918 гг. Результатом стала трагическая эпоха, когда страна стала объектом жестокого и неудачного эксперимента с попыткой построения нерыночной экономики с тоталитарной политической надстройкой.



Однако завершение этого эксперимента два десятилетия назад не сопровождалось устранением его важнейшей предпосылки — архаичности политических форм. Наоборот, политическая система постсоветской России воспроизвела не только множество недостатков советской системы, но и недостатки соответствующих институтов досоветской, «дооктябрьской» Российской империи: чрезмерную централизованность, слабость обратных связей, отсутствие балансов между отдельными институтами. Были не только признаны, но и утверждены официально почти монархические полномочия главы государства, не ограничиваемые ни законом, ни тем более политической практикой; нечувствительность к меняющимся общественным запросам и потребностям. Отсутствие эффективных механизмов парламентского контроля за властью; привычки к поиску разумных компромиссных решений, способных дать простор для общественно-экономических изменений без антагонизации крупных общественных слоев и сил; практики регулярной ротации конкретных фигур во власти на основе объективной оценки результатов их деятельности — все эти родовые пороки политического развития России еще начала XX века оказались воспроизведенными в процессе постсоветской реконструкции. И все это в условиях несопоставимо более низкого уровня образования и культуры политического класса, когда длившийся семь десятилетий советский период в значительной степени подорвал потенциальные экономические основы конкурентной

политической системы, а именно: наличие различных групп крупных собственников, обладающих желанием и возможностью поддерживать альтернативные политические команды, способные выступить в роли главных участников легальной конкурентной политической борьбы.

Вдобавок, на протяжении длительного времени население не знало никакой собственности, кроме личной и государственной, и появление слоя людей, которые могли бы считать себя полноценными и легитимными частными собственниками, имеющими не только право, но и обязанность активно участвовать в общественной и политической жизни в качестве субъекта, а не объекта, требовало времени, активного публичного обсуждения, наконец, просто просвещения.

С этой точки зрения, катастрофа начала советского периода, когда имущие классы частных собственников в лице помещного дворянства, торгово-промышленного сословия и даже зажиточных крестьян, начавших ощущать себя реальными собственниками обрабатываемой ими земли, оказались уничтожены не только «как классы», но и буквально, то есть физически — имела колоссальные негативные последствия, в том числе и для политического сознания населения страны. Явиться полноценной заменой этим классам, во всех смыслах, никак не могли ни позднесоветские «кооператоры», ни так называемые «красные директора», на которых неожиданно свалилось право распоряжения крупнейшими промышленными и сельскохозяйственными

активами, к созданию которых они имели лишь весьма косвенное отношение, ни бенефициары так называемой «малой приватизации» начала 1990-х годов — бывшие заведующие небольшими предприятиями советской торговли, строительства и сферы услуг. Разумеется, не годились на эту роль и бывшие криминальные и полукриминальные («фарцовщики», «цеховики» и т.п.) элементы, вышедшие фактически из подполья и попытавшиеся взять под свой контроль наиболее «лакомые» места в сфере дистрибуции и финансов.

Люди, выросшие и сформировавшиеся в условиях, когда тоталитарное государство, олицетворяемое вождем-руководителем, не только «по жизни», но и де-юре являлось безраздельным хозяином всех имеющихся в стране экономических активов, не могли воспринять эти новые группы имущих как легитимных собственников, имеющих право по собственному усмотрению распоряжаться громадными активами и, более того, использовать их для защиты собственных политических интересов. Да и сами они не могли ощущать себя таковыми — как в силу собственного мировоззрения, сформировавшегося в условиях безраздельной монополии советской системы, так и под влиянием враждебного к себе отношения основной массы российского населения, у которой сохранялось стойкое убеждение и представление, что никакого «священного права собственности», существующего до и независимо от государства и его доброй воли, в стране не существует.

Отношение к верховной власти как к единственному легитимному источнику права собственности, особенно на крупные производственные активы, пережило и бурное начало 1990-х, и, тем более, последующие этапы постсоветского периода, когда окрепшая центральная власть стала активно поощрять эти стереотипы, прямо или косвенно внушая, что все иные источники собственности являются формой бандитизма и «кражи собственности у народа».

Это, в свою очередь, порождало и порождает не только психологическую невозможность отделить функции и полномочия власти от функций и полномочий одного-единственного лица, стоящего во главе властной пирамиды, но и приписывание этой фигуре изначально не свойственных ей полномочий и возможностей. Отсюда вытекает еще и фактическое непризнание за любыми альтернативными группами и фигурами в политике права использовать государственные ресурсы для борьбы за власть с доминирующей в политической системе группой. И правящая команда, и общество в целом «по умолчанию» не считали и не считают монополию власти на распределение всех основных ресурсов в государстве противоестественной и недопустимой, тем более преступной. Наоборот, эта монополия освящается традицией, для чего привлекаются многообразные формы «религиозного» и «исторического» характера, и подспудно провозглашается естественной формой организации и функционирования существующей власти. Уже одно это делает крайне

сложным создание реально работающей системы властных сдержек и противовесов, имеющей под собой адекватную экономическую основу в виде независимых групп крупных и мелких собственников.

Сюда же уходит своими корнями и отождествление сильной власти с властью, никем и ничем не ограничиваемой. Стремление создать реальное разделение властей воспринималось и продолжает восприниматься в обществе как попытка ослабить государственную власть, сделать ее беспомощной, повязав по рукам и ногам чужой волей. В этом смысле доходящее до крайней черты нынешнее унижительное положение российского парламента во многом является следствием кампании по дискредитации законодательной власти, осуществлявшейся, хотя бы и стихийно, ведущими средствами массовой информации в 1990-е годы. Не стоит забывать, что в те годы журналисты, считавшие себя сторонниками «демократического выбора», с упоением изображали Верховный Совет, а затем Государственную Думу тяжелыми и бесполезными оковами, висевшими на «богатыре» Ельцине и якобы мешавшими ему решительно осуществлять необходимые стране социально-экономические реформы. Да и суды (в той степени, в которой они сохраняли свое какое-то политическое значение) периодически представлялись обществу как досадные препятствия на пути продвижения страны «по пути реформ».

К сожалению, восприятие верховной власти как продукта равновесия различных сил в обществе, компромисса между ними в российской истории

было минимизировано. Любой компромисс чаще всего оценивался в большей части общественно-го мнения как «гнилой», который может и должен быть без тени сожаления нарушен при первой же возможности. В этом смысле можно сказать, что сегодня общество платит высокую цену за стереотипы и предрассудки, в значительной степени являющиеся продуктом российской истории.

Наконец, еще одним фактором, оказавшим влияние на политическую ситуацию в России 1990-х, стала внешняя среда. Я об этом достаточно подробно писал в своей предыдущей книге<sup>8</sup>. Чтобы не повторяться, скажу лишь следующее.

При всех особенностях, при всей инерционности общественного сознания в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов существовал сравнительно короткий период, когда разочарование в советских порядках и советском образе жизни было настолько массовым и глубоким, что, на мой взгляд, содержало в себе возможность резкого изменения общественных представлений. Если бы отказ от советских идеологических догм и окончание холодной войны сопровождалось бы готовностью бывших противников Советского Союза в этой войне искать пути его включения в существующий миропорядок на условиях, которые воспринимались бы российским политическим классом и большинством граждан как достойные, его отношение к иным устоям власти, отличным от тех, что исторически присутствовали

8 Явлинский Г.А. «Рецессия капитализма — скрытые причины». Realeconomik. С. 119–167. М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2014.

и закрепились в российском общественном сознании, было бы другим. Естественно, само по себе это не гарантировало эволюции российской политической системы по неавторитарной траектории, но было бы весьма весомым камнем на чаше весов последующего исторического выбора.

Однако на практике на Западе возобладало близорукое и эгоцентричное отношение к произошедшим на территории СССР тектоническим сдвигам как к возможности избавиться от своей давней головной боли в виде общепризнанной необходимости проводить сложную и многоплановую политику «сдерживания» СССР. Российскому руководству была немедленно оказана самая высокая протокольная честь в виде признания дипломатической преемственности на всех уровнях. Однако в то же время в связи с потерей реального интереса с точки зрения поиска рациональной модели отношений, как это было с СССР, Россию как страну и общество стали отовсюду отодвигать.

Российский политический класс в своих отношениях с Западом столкнулся с неприкрытым цинизмом в духе «реалполитик», что было пусть не единственным, но весомым фактором, укрепившим его скептическое отношение к либерально-конкурентной модели политического устройства, — фактором, породившим в этом классе убеждение, что имитация присущих такой модели отношений и институтов (разделение властей, выборы, регулярная сменяемость власти) «продается» ничуть не хуже, чем их добросовестное формирование.

Впрочем, это уже связано не столько с недальновидностью или некомпетентностью отдельных политических лидеров, сколько с общим кризисом политического сознания и поведения в последние десятилетия, о котором я подробно написал в своей книге «Реалэкономик. Скрытые причины Великой рецессии (и как предотвратить ее повторение)»<sup>9</sup>.

Так или иначе, но под влиянием целого комплекса факторов политическая система постсоветской «новой России» в 1990-е годы сформировалась как система авторитарная, инерционная, малоэффективная и лишенная стимулов к эволюции в сторону альтернативной ей либерально-конкурентной модели.

Если, завершая наше рассмотрение 90-х годов, попытаться кратко суммировать предпосылки и факторы появления и формирования нынешнего периферийного авторитаризма, вытекающие из логики и содержания реформ тех лет, то можно, с некоторой долей условности, выделить три основные группы. Первая из них — это цепочка событий, приведшая к появлению системы, основанной на слиянии власти и собственности: гиперинфляция (конфискация) 1992 года — криминальная приватизация (залоговые аукционы) 1995—1997 гг. — фальсификация выборов и подчинение СМИ 1996—1998 гг. Вторая — большевистские методы ведения реформ: проведение реформ и принятие решений в соответствии с такими догмами, как «цель оправдывает средства», «базис (характер

9 Grigory Yavlinsky. Realeconomik. The Hidden Cause of the Great Recession (And How To Avert the Next One). Yale University Press, 2011.

собственности) предопределяет надстройку (правовые и гражданские институты) едва ли не автоматически», «первоначальное накопление капитала всегда преступно» и т.п. И третья группа — это отказ от переосмысления советского периода, государственной оценки сталинизма и большевизма, что стало фундаментом кризиса самоидентификации, привело к потере жизненных ориентиров, идеологической эклектике, расцвету «евразийского» невежества и, в конечном счете, невозможности исторически выверено и логично определить свое место в мире. В результате, в конце 90-х годов людей охватило глубокое разочарование, растерянность и чувство, что их жестоко обманули. Усилился процесс поиска ответов на возникшие проблемы в прошлом, в советском периоде. В этих условиях появился Владимир Путин.

Впрочем, как я уже сказал выше, 1990-е годы были лишь периодом формирования и становления системы, когда некоторые ее черты еще не приняли законченных форм, а некоторые — даже не проявились сколько-нибудь заметно. Поэтому не менее важными для судьбы нынешней исторической версии российского авторитаризма являются 2000-е годы, на которых следует остановиться подробнее.

## 2000-е годы: что произошло с политической системой

Свой анализ того, что произошло с политической системой в России в первое десятилетие нового столетия, я хотел бы начать с повторения главного тезиса предыдущей главки, а именно: 1990-е годы не были периодом развития России по пути демократии, если под ней подразумевать политическую модель с 1) распределением властного ресурса между несколькими центрами и группами; 2) наличием эффективного разделения власти на отдельные ветви, выполняющие функции недопущения ее концентрации в одних руках; 3) использованием выборов в качестве механизма разрешения споров и противоречий и определения правящей команды из числа нескольких претендентов на эту роль. Ни по одному из названных выше направлений в 1990-е годы не произошло сколько-нибудь заметного продвижения вперед — сколько бы ни пытались убедить меня в обратном. Напротив, я считал и продолжаю считать, что именно в этот период формальные признаки политической демократии в вышеупомянутом ее понимании оказались в крайне печальном состоянии — с практически полностью выхолощенным реальным содержанием, скомпрометированными институтами и густым налетом демагогии, вызвавшей стихийный внутренний протест у широких слоев российского населения.

Что же касается механизмов власти как таковой, и в особенности ее административной вертикали, то и они к концу 1990-х годов находились в крайне печальном состоянии. Такие базовые функции государства — причем вне зависимости от конкретного типа политической системы — как поддержание общественного порядка; учет, контроль и защита своих граждан; единство правового регулирования общественных, в том числе хозяйственных отношений на всей территории страны; поддержание дееспособной системы судопроизводства; формирование и исполнение национального бюджета и т.д., выполнялись российским государством, по общему мнению, неудовлетворительно и в значительной степени подменялись стихийным саморегулированием на основе силового соперничества, полукриминальных «понятий» и т.п.

Поэтому со стороны можно было предположить, что именно это и имелось в виду, когда после «смены караула» в Кремле вдруг началась чуть ли не кампания обличения «лихих 1990-х»: заключая в себе изрядную дозу политической демагогии, она, одновременно, опиралась и на вполне реальные ощущения недопустимой слабости государства в его внешнем, а главное — внутреннем измерении. Нельзя отрицать, что и в обществе, и в бюрократической элите существовал своего рода запрос на консолидацию, которая должна была упорядочить жизнь посредством укрепления государства — не в смысле роста его размеров или степени свирепости, а в плане эффективности выполнения им тех его функций,

которые делают общество современным, сложно организованным и способным к развитию. Другое дело, что реализация этого запроса пошла по пути консолидации самой авторитарной власти, а не ее государствообразующих функций, это в итоге и привело к тому, что российский политический авторитаризм принял свою нынешнюю демодернизационную, консервативно-шовинистическую изоляционистскую форму.

Другими словами, если в начале и середине 1990-х годов постсоветская российская политическая система прошла свою первую развилку — между конкурентной и авторитарной моделью — и сделала выбор в пользу второй, то в начале 2000-х оказалась пройденной и вторая важнейшая развилка — между авторитаризмом модернизационного типа, своего рода «авторитаризмом ради прогресса», и авторитарной властью консервативно-застойного типа, которая начинает с того, что ставит блоки на пути любых изменений, способных ослабить контроль правящей группы над обществом, а заканчивает тем, что утрачивает этот контроль по причине перерождения институтов, делающих возможным само управление обществом<sup>10</sup>.

10 С начала 2000-х годов в российскую систему стали поступать в очень существенных размерах сверхдоходы от экспорта сырья и углеводородов, что кардинально усилило и ускорило процесс ее консолидации. Перечислим наиболее существенные этапы:

- подчинение всех политически влиятельных СМИ государству (разгром НТВ, 2000—2002 гг.);
- укрепление слияния власти и собственности путем еще большего подчинения бизнеса государству, жесткий личный контроль всех финансовых потоков, сокращение частного сектора в экономике (дело ЮКОСА, с 2003 г.);

Строго говоря, это давно известный в истории парадокс, выражаемый старой как мир максимой: «Чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться». Устойчивость любой политической системы, в том числе и авторитарной, в конечном счете, зависит от ее динамизма и адаптивности, способности давать простор для роста новых сил и отношений, улавливать изменения в ситуации и находить ответы на возникающие из этих изменений новые угрозы и вызовы. Естественно, конкурентная модель теоретически обладает в этом отношении большими преимуществами, поскольку (опять же, теоретически) подразумевает неизбежность поражения на выборах той команды, которая оказывается невосприимчивой к объективной потребности в переменах.

На практике, конечно, все не так однозначно — и потребности не всегда бывают очевидными, и механизм действует не автоматически, и результаты выборов могут сильно отличаться от объективных потребностей выживания и развития системы.

- лишение региональных элит какой бы то ни было самостоятельности — отмена губернаторских выборов (2002 г.);
- разворачивание тотальной пропаганды в электронных СМИ, изменение редакционной политики прежде влиятельных демократических СМИ путем полупринудительной передачи прав собственности на них крупнейшим госкомпаниям и превращения этих СМИ по сути в спецпроекты по манипулированию общественным мнением, прежде всего столичной интеллигенции, в интересах правящей группы, резкое увеличение масштабов фальсификаций на выборах (с 2003 г.);
- активное запугивание общества (с 2012 г.) — молодежи (дело Pussy Riot), участников протестных акций («Болотное дело»), правозащитников и общественников («иностранные агенты»), бюрократии (дело Сердюкова), шумные кампании против различных меньшинств («пропаганда гомосексуализма»), «национализация элиты» и т.п.;
- усиленная работа по созданию атмосферы политической безальтернативности независимо от качества власти и ее ошибок.

С другой стороны, и авторитарная система может при определенных условиях демонстрировать и гибкость, и умение адаптироваться к меняющимся условиям, и нацеленность на реальные, а не мнимые успехи. Так что «окаменение» авторитарной власти, превращение ее в оковы и помеху общественному прогрессу не являются ее неизменным продуктом, а представляют собой скорее результат сочетания силы обстоятельств и политической несостоятельности правящей группы.

В какой степени эти два фактора обуславливают конечный итог — сказать сложно, но результат, как правило, принимает форму режима, который, пытаясь защититься от множества реальных и мнимых врагов, в том числе внешних, пытается блокировать действие любых неизвестных и непонятных ему сил и тем самым ставит крест на возможностях эволюции наличествующих в обществе институтов.

Что происходит далее — более или менее понятно. Институты, не способные меняться, в том числе и для того чтобы ликвидировать свою неадекватность изменившимся обстоятельствам, рано или поздно оказываются неспособны выполнять возложенные на них государственные функции. Полиция перестает всерьез бороться с преступностью, спецслужбы — с угрозами государственному суверенитету, налоговые службы — с реальными уклонениями от налогообложения. Суды приобретают черты «независимости», но не столько от контроля со стороны верховной власти, сколько от всякого общественного контроля, и во многом

трансформируются в коммерческие структуры. Законодательные органы принимают свои акты хаотично и бездумно, безо всякой привязки к последствиям и возможностям их исполнения. Государственные инвестиционные институты действуют в рамках какой угодно логики, кроме логики стимулирования экономического роста, — чаще всего в интересах удобства и личной заинтересованности в «осваивании» общественных средств. В результате власть в лице своих высших органов фактически лишается инструментов активного влияния на ситуацию в стране, а ее дальнейшая судьба определяется силой инерции и волей обстоятельств, в том числе (а возможно, и главным образом) внешних. Поэтому авторитарная власть консервативно-шовинистического типа, не ставящая перед собой задач осуществления модернизации и реформ управляемого ею общества, на определенном этапе неизбежно становится заложницей обстоятельств, которые могут очень долго держать ее «на плаву», а могут и сделать неизбежным острый политический кризис, который она (эта власть) оказывается неспособной ни преодолеть, ни пережить.

Возвращаясь к истории 2000-х годов, можно заметить, что именно на эти годы в России пришлась та самая развилка, о которой я сказал чуть выше, а именно: развилка между возможностью направить усилия на осуществление модернизации (авторитарной, с присутствием элементов конкурентной демократии) или, наоборот, на строительство новых оград и заборов, блокирующих политические изменения, потенциально создающих угрозу стабильно-

сти власти, и, как следствие, останавливающих любое значимое политическое развитие вообще. Результат прохождения этой развилки сегодня очевиден почти всем, но тогда, пятнадцать лет назад, во время президентских выборов 2000 года, несмотря на очень высокую вероятность такого развития событий (исходя из особенностей созданной в России олигархической системы, способа привода к власти и личности преемника Бориса Ельцина), убедить в такой перспективе мне удалось далеко не всех.

Все факторы, обусловившие сегодняшний результат, конечно, присутствовали и тогда. В первую очередь, это, конечно, отсутствие сильного класса легитимных крупных собственников — собственников крупных производственных, экономических активов; класса, желающего и готового играть важную роль в определении политического будущего страны. Предвидя возражения по поводу «олигархов» 1990-х годов, активно «ударившихся» в политику, хочу сказать следующее.

Во-первых, они не были классом. Да, у нас было несколько десятков человек, реально ставших хозяевами баснословных состояний и формально — собственниками сотни или двух наиболее привлекательных хозяйственных активов России 1990-х годов. Но в силу случайного характера своего попадания на эти роли; в силу отсутствия у них общей истории и внушительной деловой биографии; наконец, просто в силу своей крайней малочисленности они не могли образовать устойчивый класс людей, связанных осознанными общими (по сути — общенациональными) интересами и личной заинтересованностью в развитии



экономики и общества по, условно говоря, рыночно-демократическому пути. Для каждого из них остальные члены этой узкой группы были не союзниками на основе общего интереса, а чужаками, претендующими на кусок ограниченного количества привлекательных активов, доставшихся власти и теперь распределяемых ею по ее собственному усмотрению.

Во-вторых, они не были легитимными собственниками ни в глазах политической верхушки страны, ни в глазах ее населения, ни даже в своих собственных. Я, кажется, уже тысячу раз об этом говорил, но готов повторить и в тысячу первый: право собственности — это не бумажка с печатями, и не запись в реестре, внесенная уполномоченной на это конторой. Право собственности — это, в первую очередь, готовность окружающих людей и общественных институтов признавать за тем или иным человеком право распоряжаться тем или иным активом по его собственному усмотрению — продавать, передавать по наследству и вообще делать с ним все, что специально не оговорено и не запрещено законом. Вот такого права собственности у «олигархов» не было (как нет его у теперешних крупных собственников и сейчас, пятнадцать и более лет спустя<sup>11</sup>).

11 Позволю себе привести цитату из редакционной статьи газеты «Ведомости», написанной не далее как в августе 2013 г.: «С большой собственностью все плохо. Ценности, полученные в результате приватизации, не были заработаны. Права, полученные новыми собственниками заводов и шахт, выглядели как восстановление несправедливости и сохраняли оттенок пожалования в обмен на лояльность... Власть сохраняет негласную «золотую акцию» в больших активах, особенно в тех, которые Кремль считает стратегическими» («Ведомости», 16.08.2013).

Именно поэтому они, взятые в совокупности, не могли стать ни двигателем модернизационных реформ, ни даже их надежной опорой, надумай власть тогда их проводить. И пример Ходорковского здесь совершенно нерелевантен — его политические амбиции в начале 2000-х годов имели личный, а не коллективно-классовый характер. К тому же, модернизационная риторика стала лейтмотивом его высказываний во многом в результате противостояния власти, и вопрос о причинно-следственной связи этих двух вещей вовсе не так прост, как многим кажется<sup>12</sup>.

Что же касается малого и среднего бизнеса в России конца 1990-х, то он тем более не мог выступить в роли политического стержня авторитарной модернизации в силу социально-идеологической пестроты и почти нулевой степени политической организованности.

В какой-то степени более подготовленной к этой роли была центральная бюрократия, и, как это ни парадоксально, именно она в течение длительного времени поддерживала возможность разворота авторитарной системы в сторону большего учета общественных потребностей и интересов. Однако в итоге фракция «модернизаторов» оказалась слишком слабой в политическом отношении, чтобы решающим образом повлиять на курс государственного

12 Не случайно многие наблюдатели отмечали в течение всего периода пребывания М. Ходорковского в заключении, а после выхода на свободу было прямо подтверждено им самим, что в политическом измерении его противостояние не отражало и, тем более, не отражает сейчас противоположный или принципиально отличный вектор возможной эволюции российского общества.

корабля. В итоге этот курс был определен в направлении, близком к противоположному, и те представители «модернизационной» бюрократии, которые не захотели покинуть корабль, оказались заложниками избранного капитаном маршрута.

Другая важная, на мой взгляд, причина того, что авторитарная модернизация в России не состоялась, заключается, как ни странно, в том, что именно в это время цены на нефть и газ на экспортных рынках взлетели на небывалую высоту не только в абсолютном, но и в относительном выражении.

Возможно, кому-то такое объяснение и покажется слишком простеньким, но в основе сложных социальных явлений иногда действительно лежат достаточно простые вещи. И нет ничего удивительного в том, что быстрый рост финансовых возможностей как государства, так и населения в значительной степени подорвал мотивацию к сложным и рискованным (в плане оценки различными слоями общества) шагам модернизационного свойства, выдвинув на первый план иной приоритет: «главное — не спугнуть тактическую стабильность». А реакцией власти на мировой финансово-экономический кризис 2008—2009 гг., который и остановил рост цен на предметы российского экспорта, стало инстинктивное стремление власти окуклиться, отгородиться от нестабильности западной экономики с ее сложными механизмами роста через отказ от «ненужных» социально-экономических экспериментов, через ставку на проверенные механизмы ресурсно-сырьевой экономики — освоение новых месторож-

дений и строительство гигантских трубопроводов как основное содержание внутренней экономической политики. Сегодня уже даже серьезная перспектива неблагоприятных для России тенденций на мировых рынках энергоносителей оказывается не в состоянии заставить систему двинуться в сторону поиска путей экономической модернизации. Однако десять—двенадцать лет назад ситуация была совсем иной, и длительный период «незаработанного» роста доходов, скорее всего, сильно способствовал тому, что застойно-охранительный крен в системе возобладал всерьез и надолго.

Да и личные факторы, видимо, сыграли не последнюю роль в этом выборе. Настороженное отношение к внешнему миру; непонимание того, какие механизмы работают в западной политике и как они формируют ее линию поведения по отношению к внешнему миру, включая Россию, стало причиной очень завышенной оценки рисков, сопутствующих большей открытости внешнему миру в случае осуществления модернизационных реформ. Завышенные представления российской властной элиты о значимости России в глазах западных политиков вели к неадекватной оценке желания и готовности Запада тратить «огромные ресурсы» на то, чтобы по всем вопросам привести Россию к «общему знаменателю». Конечно, угроза внешнего вмешательства в российскую политику преувеличивалась, в том числе и по внутривнутриполитическим соображениям, но сводить это преувеличение исключительно к задачам обработки массового сознания было бы неверно. Страх перед возможностью получить

в стране мощную силу, готовую за относительно небольшие деньги провести «специальную операцию по смене режима», был вполне искренний, хотя и не адекватный величине угрозы<sup>13</sup>.

Правда, следует заметить, что и западные лидеры со своей стороны не прилагали особых усилий, чтобы уменьшить страхи и обеспокоенность российской власти. Никто не пытался ей объяснить, что всякого рода гранты «на развитие демократии», выделявшиеся оппозиционно настроенным лицам и организациям, которые в американском и европейском общественном мнении представляются как демократические, на самом деле примерно столь же малы, формальны и непродуктивны, как, скажем, помощь, которую Советский Союз в свое время оказывал западным коммунистическим партиям. И точно так же, как в то время было бы верхом наивности полагать, что вопрос о власти в США можно было решить на советские подачки местным коммунистам и «левым», откровенной глупостью являются сегодня рассказы о том, через те или иные (подчас случайные и даже маргинальные) НКО в Россию закачиваются миллиарды, на которые можно смелить политическую элиту или развалить страну.

13 На самом деле, частные и государственные деньги, выделявшиеся в странах Запада на «поддержку демократии по всему миру», были совсем не велики, да и те, в основном, «осваивались» через перекачивание, прямо или косвенно, в личные карманы «профессиональных борцов за демократию» с весьма слабой привязкой к результату. Фактическим же результатом подобной «борьбы» было поддержание на Западе общественного интереса к нескольким десяткам резонансных, но на самом деле малозначимых сюжетов и персон, в то время как воздействие их на реальные отношения по поводу власти в нынешней России было минимальным, если не сказать нулевым.

Это, конечно, не означает, что попытки отдельных лиц и организаций вне России в собственных интересах, в том числе и коммерческих, повлиять на политическую ситуацию в стране вообще не могут иметь место. Но риски, с этим связанные, никак не могут служить оправданием для отказа от реформ и тотальной конфронтации с внешним миром.

К сожалению, эту истину российской власти начала 2000-х никто не захотел или не смог объяснить. Наоборот, некоторые деятели на Западе считали безобидным делом полуритуально дразнить ее не имеющими под собой содержания громкими разговорами о «поддержке демократии» на постсоветском пространстве (очевидно, не имея в виду Туркменистан или Таджикистан), о скором новом расширении НАТО за счет стран бывшего СССР и т.д.

Так или иначе, выбор между авторитаризмом модернизационного типа и авторитаризмом консервативно-охранительным, не ведущим диалога со значимыми самостоятельными политическими силами внутри страны и закрытым для сотрудничества с западным миром, был сделан в первой половине 2000-х годов в пользу последнего и, при всех оговорках и колебаниях генеральной линии, четко закрепился в их второй половине.

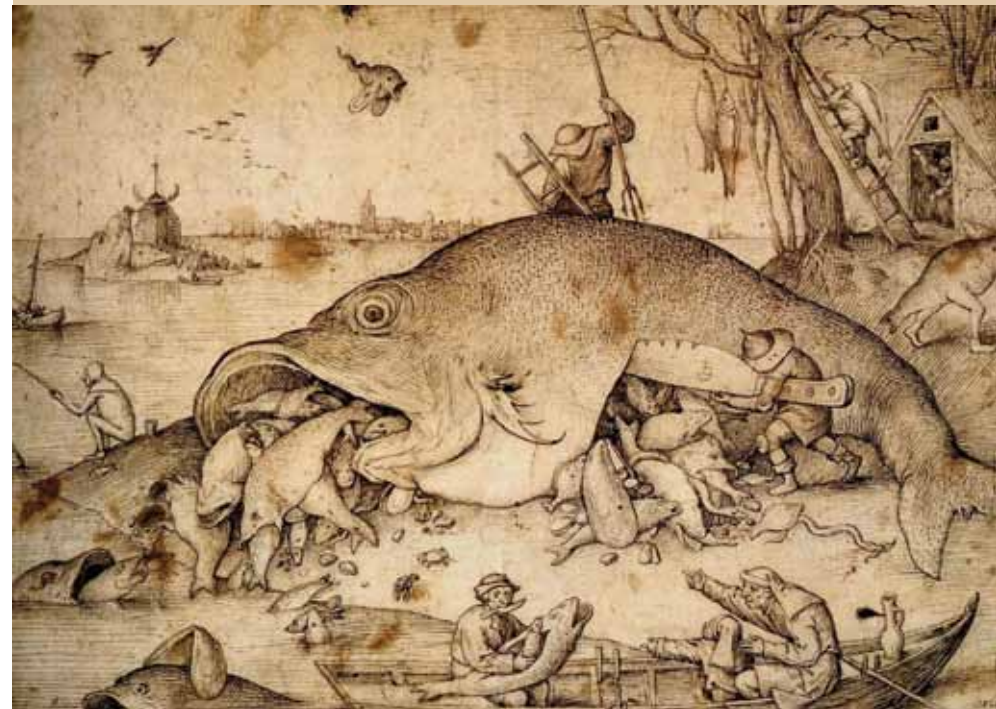
Естественно, этот процесс был постепенным и не скачкообразным. Изменения в составе и характере деятельности таких институтов, как президентская администрация, Государственная Дума и Совет Федерации, местные законодательные собрания и др., накапливались годами, прежде чем обнаружить

свое принципиально новое качество. Официальная идеология (в той мере, в которой она обнаруживалась на уровне соответствующих документов и выступлений) долгое время сохраняла инерцию 1990-х и реформаторско-модернизационную фразеологию. Последний всплеск такой фразеологии наблюдался, кстати, относительно недавно — в период пребывания на президентском посту Д. Медведева.

Да и готовность к диалогу с гражданским обществом внутри страны (по всему его спектру, а не с тщательно отобранными представителями) менялась нелинейно: временами казалось, что происходит корректировка ранее наметившегося курса или, по крайней мере, наметилась неуверенность в целесообразности его дальнейшего продолжения. Тем не менее, при взгляде на ситуацию с точки зрения среднесрочных тенденций сделанный выбор с каждым годом представлялся все более очевидным.

Период, прошедший с момента обратной кадровой «рокировки» в Кремле и Белом доме весной 2012 года, не просто подтвердил неизменность этого курса, а внес в него такие немаловажные элементы, которые достойны отдельного разбора. Однако прежде чем попытаться заострить внимание на этих нюансах, мне бы хотелось попытаться нарисовать общую комплексную картину той политической системы, которая сформировалась в результате вышеописанной эволюции на протяжении двадцати постсоветских лет и которую я называю, понимая всю условность этой характеристики, системой «периферийного авторитаризма».

## 2. Периферийный авторитаризм: что у нас возникло и как оно работает



Итак, два десятилетия после краха советской системы привели нашу страну к политической системе, основанной на монопольной несменяемой власти одной доминантной группы высшей бюрократии, по своему усмотрению назначающей руководителей и глав всех силовых, административных и основных экономических институтов.

Системе, исключаящей замену правящей группы без одновременного слома системы и глубокого политического кризиса. Системе, работающей на собственное воспроизводство и исключаящей возможность естественной эволюции или самореформирования в соответствии с меняющейся ситуацией. Наконец, системе, основу которой составляет распределение административной ренты и которая в силу этого заинтересована в сохранении экономических и социальных условий, позволяющих эту ренту сохранять и извлекать. Ниже мы поговорим обо всех ее характеристиках и свойствах более подробно.

## Формула властвования

Первое, что мы уже отметили выше и что характеризует способ формирования и смены нынешней власти, — это ее авторитарный характер.

Существующая политическая система в России если не по форме, то по сути является стопроцентно авторитарным режимом. В данном случае я использую этот термин без негативной эмоциональной коннотации — это просто объективное определение системы власти, при которой узкая правящая группа (во главе с единоличным лидером или без такового) обеспечивает себе монопольный контроль над властно-административной пирамидой, не допуская концентрации политического ресурса в сколько-нибудь значимых масштабах в руках любых других групп.

В наших условиях такой контроль обеспечивается путем более или менее эффективного управления процессом формирования общественного мнения (точнее, той его составляющей, которая важна для власти) и тщательного отслеживания всех крупных финансовых потоков внутри страны и из-за рубежа, с тем чтобы не допустить концентрации существенных средств у потенциально опасных для правящей группы альтернативных политических структур и группировок. Инструменты, позволяющие достигать этого результата, были определены и опробованы еще в 1990-е годы, но в 2000-е эта

задача была поставлена в центр государственной политики и постепенно стала приобретать не только все большую значимость, но и в значительной степени самостоятельный, самодовлеющий характер.

Что касается информационного (по сути — пропагандистского) ресурса в виде наиболее массовых СМИ (это, прежде всего, эфирное телевидение и массовая («желтая») пресса), то контроль за их политической составляющей был сосредоточен в руках правящей корпорации еще во второй половине 1990-х годов. Формально частный характер некоторых из этих носителей пропагандистского ресурса, характерный для того периода, не должен вводить в заблуждение — ключевую роль в определении их политического контента уже тогда играла президентская администрация и узкий круг наиболее влиятельных членов правящей команды.

В начале 2000-х годов этот контроль было решено формализовать и тем самым закрепить через государственное владение большей частью медиа-ресурсов, способных формировать массовое общественное мнение. Вслед за фактической национализацией медиа-империи В. Гусинского и окончательным утверждением за государством права на управление ОРТ государство через подконтрольные ему компании сконцентрировало в своих руках право собственности практически на все СМИ, способные формировать массовые представления о смысле и содержании политической жизни в стране. Это на протяжении 15 лет не исключает существования

отдельных оппозиционных медиа-ресурсов, главным образом в интернет-пространстве, которые рассматриваются правящей группой как отражение маргинальных мнений и настроений, не способных кардинальным образом повлиять на общественную ситуацию.

Возможность выражать оппозиционные настроения и мнения в ограниченных по своему потенциалу «маргинальных» (по мнению властей) информационных ресурсах не подрывает и не ослабляет их способность контролировать умонастроения больших слоев населения, которые могли бы быть использованы альтернативными политическими группами в качестве политического оружия.

Вторым направлением, как было сказано выше, стало укрепление способности власти контролировать потоки денежных средств, которые могут быть использованы в политических целях, главным образом для формирования альтернативных центров политической силы. «Дело Ходорковского» было первой крупной демонстрацией того, что власть полна решимости более не допускать к политике не подконтрольные ей крупные деньги (и, соответственно, организационный ресурс) и держать все сколько-нибудь значимые финансовые потоки в стране, по возможности, под более жестким контролем. Несмотря на очевидное наличие в этом деле и побочных мотивов — опасений относительно утраты контроля над некоторыми «стратегическими» активами, экономической заинтересованности ряда членов правящей команды, а также особенностей

личных отношений — главный смысл всей этой истории состоял в том, чтобы показать, что отныне большие деньги больше не будут давать пропуск в «большую политику» и, более того, не будут гарантировать их обладателям личную неприкосновенность.

Естественно, в дальнейшем решимость пресечь возможность использования личных состояний для неподконтрольной власти политической активности только крепла. Главным инструментом ее реализации на практике стала «правящая партия», которая на деле стала выполнять роль надзорной вертикали, выстроенной из центра к периферии, на которую была возложена обязанность отслеживать политическую активность регионального бизнеса, интегрируя его в единую систему авторитарного государства и решительно пресекая любые его попытки организовывать или финансировать социальные и политические проекты, не согласованные с вертикалью.

Решению этой же задачи должны были способствовать и изменения в избирательной системе — отмена губернаторских выборов и переход к выборам депутатов законодательных собраний исключительно по партийным спискам. По крайней мере, в теории это затрудняло не неподконтрольные власти использование финансового ресурса в интересах увеличения политического влияния.

Естественно, в этом деле, как и в любом другом, полностью добиться поставленной цели не удалось — все-таки интересы и установки централизо-

ванной вертикали, как водится, часто пасуют перед личными интересами, амбициями и пристрастиями региональных активистов и чиновников. Но в целом курс на удушение методами финансового администрирования (а подчас и уголовных репрессий) любой несанкционированной политической активности выдерживался последовательно и сегодня является одним из краеугольных камней выстроенной системы власти.

Доказательством стабильности избранного курса стало также то, что все разговоры (часто достаточно предметные) о необходимости передачи в частные руки находящихся в собственности государства крупных активов в банковском и сырьедобывающем секторах, так и остались разговорами. Напротив, доля финансовых потоков, связанных с этими секторами (а в наших условиях это практически все по-настоящему крупные потоки), прямо или косвенно контролируемых государством, за десятилетие 2000-х годов с очевидностью возросла.

Естественно, что причина этого была исключительно политического свойства — ни практически-экономической, ни даже идеологической подоплеку у постоянных отсрочек сроков приватизации не было. Главное, что заботило и продолжает заботить высший слой государственных управленцев, — это предотвращение возможности использовать ресурсы предприятий, действующих в этих сферах, для подпитки иных (помимо правящей) групп с политическими амбициями. Сохранение же прямого государственного контроля над крупнейшими

корпорациями в добывающем и финансовом секторах уменьшает вероятность того, что какая-то часть из подконтрольных им финансовых потоков может быть использована для политической деятельности, не согласованной с федеральной властью или, тем более, представляющей угрозу ее интересам и целям.

С этим же, видимо, связаны и неудачи попыток запуска политических проектов на базе частного капитала, даже очень осторожных и вполне лояльных к существующей системе. При том, что они, как правило, предпринимались с ведома и по инициативе представителей высшей власти, рано или поздно (точнее, скорее рано, чем поздно) они превращались в объект окол властных интриг и в итоге под внешним давлением закрывались, прежде чем успевали набрать сколько-нибудь серьезный вес. И причина, на самом деле, была связана не с отсутствием средств или организационных талантов, а с тем, что логика авторитарной власти в принципе не допускает даже латентной, скрытой конкуренции за место правящей команды.

Поставив под контроль внутренние источники финансирования политической активности, высшая власть начала предпринимать более активные усилия, чтобы пресечь попытки использовать в этих целях и внешние источники. Собственно, эти источники отслеживались и частично контролировались уже давно, но начиная с 2012 г. процесс окончательно перешел в открытую, публичную плоскость. Были приняты законы, предусматривающие статус «иностранного агента» и особую процедуру отчет-

ности и ответственности для имеющих зарубежные источники финансирования неправительственных некоммерческих организаций, деятельность которых имеет политическое измерение. Тогда же было выпущено правительственное постановление, закрывающее любым исследовательским коллективам и институтам дорогу к получению иностранных грантов без санкции властей.

Наконец, в этом же ряду стоит и закон, запрещающий иметь зарубежные счета и финансовые активы законодателям и высокопоставленным чиновникам, то есть всем тем фигурам российской элиты, кто имеет потенциальную возможность инициировать не согласованную с властями общественную и политическую активность или хотя бы активно участвовать в ней. Хотя формально закон направлен против возможной уязвимости влиятельных фигур в государственном управлении перед иностранным влиянием, на самом деле так называемая «национализация элит» является эффективным средством контроля за возможностями скрытого (от властей) финансового обеспечения политической деятельности безотносительно к каким-либо иностранным интересам. Совпадение по времени этого процесса с другими шагами по блокированию независимых источников политического финансирования наводит на мысль о том, что основной заботой был не риск манипулирования со стороны иностранных спецслужб, а скорее угроза самостоятельной, не подконтрольной властям политической активности внутри самой российской элиты.



В результате всех этих действий любые не санкционированные и не контролируемые властью политические амбиции отдельных лиц или групп не могут быть подкреплены адекватным финансированием, по крайней мере, в легальных формах. Это, конечно же, сильно облегчает правящей группе задачу сохранения ее монополии на власть, делая объективно излишним прямое уголовное преследование оппозиционеров, за исключением тех, кто склонен к участию в темпераментных уличных акциях с их не всегда предсказуемыми последствиями.

Естественно, на практике все сложнее, поскольку и контроль не всегда является стопроцентным, и человеческий фактор толкает систему или ее отдельных представителей к избыточной жесткости, к не оправдываемым рациональными соображениями репрессиям. Однако в целом контроль за основными активами и финансовыми потоками в экономике со стороны правящей в стране группы или команды достаточно эффективно выполняет функцию поддержания «политической стабильности», какой она видится ее членам.

Другим инструментом обеспечения монополии правящей команды на власть является, как было сказано выше, контроль над инструментами влияния на массовое сознание, к которым сегодня в России относятся, в первую очередь, федеральные телеканалы и региональные СМИ. Взятые вместе, они в существенной мере формируют представление об окружающей жизни у очень большой части взрослого населения страны и в решающей степени программируют его социальное и политическое поведение.

Это не означает, конечно, что люди принимают на веру все, что обрушивают на них эти средства информации, — многое из этого, и в первую очередь навязываемый ими образ власти как радетеля народных интересов, воспринимается массой людей с огромной долей скепсиса, если не сказать цинизма. Отношение массового сознания к чиновничеству как классу, к моральному облику правящей бюрократии, включая высшее ее звено, общеизвестно и, мягко говоря, нелицеприятно, что бы ни говорили о них официальные информресурсы. Однако главная задача, которая ставится властью, — задача навязать населению собственную информационную повестку и тем самым определить узловые точки, на которых можно строить относительную политическую безопасность для правящей группы, — оказывается вполне достижимой<sup>14</sup>.

14 На этот аспект редко обращают внимание, но он, на самом деле, принципиально важен. Раз уж резкой критики и откровенных анафем в адрес власти избежать невозможно (а с массовым распространением доступа к Интернету это стало невозможно физически и технически: даже в условиях гораздо более жесткой и эффективной системы контроля за населением, как показывает опыт КНР, поставить под контроль дискуссии в Интернете является нерешаемой задачей), то наиболее эффективным средством противодействия является манипулирование тематикой. «Большие» средства массовой информации, а также «специализированные оппозиционные СМИ» сознательно или в силу крайне низкого профессионализма подбрасывают критикам системы темы и сюжеты, которые преобладающей части населения кажутся несущественными или абсурдными, тем самым в значительной степени нейтрализуя эту критику. Облегчает эту задачу и то обстоятельство, что значительная часть оппозиционно настроенной интеллигенции, ощущая себя частью общемировой (западной) элиты, не считает для себя нужным принимать во внимание представления, потребности, вкусы и предрассудки основной массы населения («быдла», «совка», «анчоусов» и т.д.). В результате, способные всколыхнуть массы населения (вопросы социальной инфраструктуры, работы судебно-правоохранительной системы, здравоохранения и образования), в повестке критиков системы

При этом контроль властной группы над этими средствами не обязательно должен быть тотальным, всеохватывающим и всепроникающим. В отличие от тоталитарных систем, претендующих на полный и жесткий контроль над сознанием общества, авторитарные системы не ставят перед собой столь грандиозных задач. В их системе приоритетов главная цель политики в области средств массовой коммуникации состоит в предотвращении возможности использования их другими группами — потенциальными конкурентами в борьбе за власть и влияние — для достижения их собственных, не согласуемых с властями целей.

Для этого вовсе не обязательно пытаться воспитывать общество в духе какой-то цельной ценностной идеологии — достаточно просто внушать ему ощущение безальтернативности существующего порядка вещей и его, если можно так выразиться, «неопасности» для будущего. Другими словами, убедить основную часть населения в том, что имеющийся порядок естествен и приемлем, а исходящие от оппозиции посулы чего-то лучшего, более справедливого или эффективного на самом деле — разговоры «от лукавого».

Собственно, чтобы удостовериться в справедливости вышесказанного, достаточно повнимательнее

замещаюся обсуждением злоключений отдельных оппозиционных фигур, фактов ущемления личных творческих свобод и других сюжетов, вызывающих смешанную и скептическую реакцию неполиitizedованного большинства. При этом нельзя не сказать, что серьезная оценка роли московской и петербургской политизированной интеллигенции в зарождении, становлении и консолидации российской системы периферийного авторитаризма заслуживает самостоятельного и весьма нелицеприятного рассмотрения.

посмотреть на контент подконтрольных власти СМИ и сравнить его, например, с советскими временами. В отличие от последних, сегодня основные контролируемые государством каналы не пытаются воспитывать население: наиболее высокорейтинговые передачи федеральных каналов ни за что не прошли бы советскую цензуру даже не по политическим и идеологическим, а по этическим и эстетическим соображениям. Даже так называемое «политическое вещание», как правило, не содержит в себе почти никакой позитивной программы — оно призвано лишь дискредитировать любую альтернативу существующей власти, изобразив других претендентов на нее как людей по меньшей мере столь же корыстных, но еще и социально (или национально) чуждых.

Вместе с тем все управляемые правящей командой СМИ так или иначе внушают потребителю две главные установки. Во-первых, в стране не происходит ничего из ряда вон выходящего или дестабилизирующего — как все было, так и будет, все процессы под контролем и ни во что катастрофическое не выльются. А во-вторых, никакой альтернативы существующему порядку нет, а те, кто утверждают, что есть, — лжецы или иностранные наймиты, равно отвратительные и действующие исключительно из корыстных побуждений, или же (что значительно реже) — абсолютно наивные фантазеры, потерявшие связь с реальностью.

При этом во всем, что выходит за рамки сформулированного выше политического заказа, может

сохраняться полный плюрализм — вплоть до самых абсурдных форм и проявлений, подрывающих основы общественного общежития. И конечно же, наличие такого заказа не исключает, а в большинстве случаев даже предполагает свободу коммерческой деятельности, предполагающую использование управления подконтрольными средствами информации в интересах личного обогащения и благосостояния. Более того, резкое повышение личного благосостояния за счет государства как владельца значимых информационных ресурсов фактически приветствуется правящей группой, а порой и прямо иницируется ею как награда за верность и готовность поступиться любыми принципами в работе на нее.

Запускаемый при помощи этих механизмов информационный поток, конечно, не плодит в массовых количествах искренних симпатизантов правящей группы. Зато он выполняет другую, гораздо более важную функцию — внушает огромной массе населения ощущение, что за пределами навязываемого ему информационного поля нет никакой другой жизни; что любые альтернативы существующей политической реальности представляют собой лишь ее ухудшенные копии; а ложь и лицемерие в трактовке реальной жизни средствами информации — не аномалия, а универсальная норма политической и общественной жизни как таковой.

Повторю — такая схема управления СМИ не может обеспечить правящей команде активную поддержку общества, однако (и это — главное!) она гаранти-

рует равнодушно-циничное отношение к попыткам заручиться поддержкой со стороны любой альтернативной группы или команды. А с точки зрения интересов безопасности существующей сегодня модели всеобщее пассивное, скептическое и равнодушно отношение к политике дает больше гарантий стабильности, чем явно выраженная поддержка социально активной части населения. Это верно хотя бы уже потому, что общественный энтузиазм требует постоянной «подкормки» в виде осязаемых успехов и достижений, а поддержание равнодушия и неверия в возможность реальных перемен к лучшему возможно и без непомерных усилий и расходов при минимальных затратах средств, сил и времени.

Понятно, что данный образ действий приносит удовлетворительный результат только в сравнительно нормальных условиях, в отсутствие шоковых воздействий извне или неуправляемых кризисов изнутри. Возможности сопротивления деструктивным, дестабилизирующим воздействиям с помощью такого рода инструментов невелики и исчерпываются относительно быстро и по глубине, и по времени. Да, общественный цинизм гасит любые обвинения в адрес власти и делает их неопасными и беззубыми с точки зрения возможности насильственного отстранения от нее конкретных людей. Но он же лишает власть в целом возможности выживания в действительно критических условиях путем мобилизации общественной поддержки и сотрудничества со стороны общества. Напротив, в такой атмосфере крах власти в ситуации кризиса

воспринимается широкими слоями общества с затаенным злорадным удовлетворением, даже несмотря на то обстоятельство, что в результате такого краха страдает не только власть, но и общество в целом. Механизм подавления социальных угроз власти, относительно эффективно действующий в системе, поддерживаемой силой инерции упорядоченной повседневной жизни, оказывается бессильным и непригодным в ситуации, когда вызовы приобретают массовый и продолжительный характер.

Тем не менее, на данный исторический момент описанный выше механизм поддержания монополии на власть сформирован и, с точки зрения правящей группы, относительно эффективно выполняет возложенные на него задачи.

## Выборы без выбора

Любая система авторитарной власти по определению не предполагает использования выборов как механизма для определения круга лиц или групп, получающих доступ к рычагам государственной власти.

Высшая власть в лице правящей группы является в этой системе принципиально несменяемой: хотя персональный состав может претерпевать и даже неизбежно претерпевает определенные изменения, кадровые перестановки, которые в ней происходят, никогда не выносятся на суд каких-либо внешних арбитров и осуществляются через решения ее ядра, которое при всех изменениях остается стабильным.

Что же касается всех органов и институтов, составляющих государственный аппарат как в узком, так и в широком понимании, то их высший кадровый состав формируется по принципу назначения вышестоящими инстанциями, с возможным исключением из этого правила лишь нижнего звена административных органов в виде глав местного самоуправления, не обладающих сколько-нибудь значимыми ресурсами и полномочиями. То есть, по сути, все кадровые изменения, даже в тех случаях, когда они являются вынужденными и незапланированными, все равно остаются внутренним делом властной вертикали и производятся без каких-либо согласований с другими группами, имеющими государственно-властные амбиции.

Выборы в этой системе либо отсутствуют вообще, либо играют декоративную роль, оформляя уже принятые кадровые решения, как бы визируя их «общественным» одобрением.

Естественно, что в тех случаях, когда авторитарная система по каким-то собственным соображениям использует процедуру выборов (в силу традиции, в целях дополнительной легитимации или по каким-то иным мотивам), главной характеристикой и одновременно условием продолжения их использования является предсказуемость результатов голосования.

Последняя достигается путем контроля за избирательным процессом, подсчетом голосов и официальным подведением итогов голосования. Контроль предполагает возможность вмешательства в избирательный процесс, но не сводится к нему как единственно результативному инструменту и может вообще, при определенных условиях, не использоваться в своей грубой и откровенной форме (фальсификации и пр.). Поскольку реальная конкурентность (непредсказуемость результата) выборов является уже признаком конкурентной системы, являющейся по сути антитезой авторитарной модели, любое снижение предсказуемости выборов становится причиной либо совершенствования применяемых методов контроля, либо отказа от использования выборов вообще.

Этот принцип авторитарных систем действует также и в моделях, формально предусматривающих многопартийность. На деле в этих случаях для партий,

формально не включенных в правящую вертикаль, отводится некоторое количество мест, главным образом в представительских органах. В обмен на соблюдение правил системы они получают некоторое (правда, очень малое) количество политического ресурса — возможности оказывать в ряде случаев влияние на детали принимаемых решений и некоторые статусные привилегии для их руководства.

Собственно, все эти вещи и были воспроизведены в сложившейся за последние десятилетия политической системе в России. При типично авторитарном методе кадрового наполнения системы власти — на всех уровнях и во всех ее ипостасях — в стране продолжают проводиться выборы глав администраций — на общенациональном уровне, на уровне глав местных (муниципальных и сельских) администраций, и если начавшаяся практика все-таки получит продолжение, то и на уровне регионов. Последние, правда, с 2004 г. были отменены, но с 2012 г. частично восстановлены, хотя и в урезанном виде.

Сохраняются также и выборы в законодательные собрания различных уровней. Несмотря на то, что роль представительских органов в системе зрелого авторитаризма крайне невелика, их сохранение тесно связано с наличием института политических партий: без выборных представительских институтов существование последних теряет не только практическое, но какое-либо формальное обоснование.

Политические партии как институт в современной России вместе с политической системой в целом за

последние двадцать лет прошли сложный путь эволюции от союзов, созданных с целью прихода к власти в стране, главным образом через выборы и связанные с ними инструменты, к подчиненной части системы авторитарной власти — части, играющей отведенную ей роль в рамках общей логики такой системы в соответствии с ее же правилами<sup>15</sup>.

Сказанное, правда, не означает, что роль, которую играют эти партии (во многом, кстати, не по своей собственной воле), зафиксирована раз и навсегда. Если ситуация, которой пытается управлять система, в один не самый прекрасный для нее день изменится, то все договоренности «по умолчанию» вмиг перестанут действовать, и деятельность партий может за очень короткий срок приобрести принципиально новый смысл. Тем не менее, в настоящее время партийная система, как и институт выборов, с которым тесно связано настоящее и будущее политических партий, продолжает действовать в рамках парадигмы, навязываемой ей авторитарной системой.

Трудно судить о том, в какой мере сохранение выборов нынешней властью обусловлено теми или иными конкретными соображениями. Безусловно, важную роль играет мотив придания ей легитимности (отражение «воли народа, выраженной на свободных выборах»). Столь же очевидно, что тако-

15 Характерно, что искренние сторонники авторитарной системы не относят представленные в Думе партии к оппозиции, а по умолчанию считают их частью консолидированной вокруг официального лидера национальной элиты (см., например, Григорий Добромелов. Два года рокировки. «Эксперт Online», 24.09.2013 <http://expert.ru/2013/09/24/dva-goda-rokirovki/?partner=23143>).

го рода легитимность важна не только для внутреннего, но и для внешнего потребления, — по крайней мере, для части правящей группы важны контакты с внешним миром, точнее, с наиболее развитой его частью, для которой, в свою очередь, формальная легитимация через выборы является существенным условием поддержания взаимных отношений. Сказывается, видимо, и действие уже набранной инерции — если выборы уже стали частью политической системы, их легче (в том числе психологически) адаптировать, чем отменить.

Важно, однако, другое — институт выборов в рамках сложившейся системы будет действовать до тех пор, пока она оказывается в состоянии контролировать их результат. Неконтролируемость исхода выборов будет означать одно из двух — крах авторитарной системы либо исключение института выборов из существующей политической системы.

Конечно, отдельные локальные сбои избирательной машины (имеются в виду сбои с точки зрения правящей группы) возможны и допустимы. Как правило, они затем исправляются (характерный пример — случай с выборами мэра Ярославля в 2012 г.). Возможны и «пограничные» варианты, когда конкуренция допускается в достаточно широких пределах, чтобы создавалась иллюзия расширения ее пространства, могущего приобрести необратимый характер. Однако в целом механизм должен работать и не допускать незапланированных исходов — если его «сбои» вопреки всем принимаемым мерам и стараниям превысят некоторый допустимый

предел, то либо наступит трансформация системы, либо институт выборов будет отвергнут и заменен более послушным в работе механизмом, что, конечно, гораздо вероятнее.

## Административная рента

Система власти как таковая, очевидно, не содержит в себе никаких встроенных целей, кроме естественно присущего ей свойства самовоспроизводства.

Цели и смыслы в системе власти задает правящая группа в соответствии с теми ценностными установками, которыми руководствуется большинство составляющих ее людей. В этом смысле, конечно, нельзя сказать, что авторитарная система априори является исключительно инструментом личного обогащения ее участников, или средством подавления личности, или, напротив, инструментом модернизации и развития общества. Как и большинство вопросов, связанных с общественной реальностью, этот вопрос не имеет раз и навсегда данного ответа — все зависит от конкретных обстоятельств места и времени, от качества элит, от индивидуальных особенностей возглавляющих ее лидеров и т.д.

Однако в любом случае ей присуща особенность, которой лишена последовательно конкурентная система власти. А именно: авторитаризм порождает возможность для правящей группы, в силу ее монопольного политического положения, извлекать из него особую административную ренту. Как монопольный владелец политического ресурса в государстве, она имеет возможность абсолютно бесконтрольно и произвольно устанавливать себе разного плана формальное и неформальное, личное и сословное вознаграждение за осуществление функций

по управлению обществом, как по ходу реализации каких либо полномочий, так и вне увязки с каким либо реальным процессом, — просто как бонус, проистекающий из ее положения в обществе. Часто, извлекаемые ею доходы могут проистекать просто из монопольного права на насилие и вытекающей из этого возможности прямого вымогательства, что, собственно, и происходит, например, с силовыми структурами.

Связано это с тем, что в авторитарной системе нет никакой другой силы, которая могла бы не то что ограничить претензии и аппетиты правящей группы, но даже полностью прояснить размеры и формы получаемого ею рентного дохода и каналы его получения. Собственно, в этом и состоит главная слабость авторитарных систем — лишённые встроенных механизмов ограничения властных аппетитов, они рано или поздно оказываются бессильными перед натиском эгоистических желаний и страстей, алчности и социальной безответственности членов правящей группы.

Кстати, если обратиться к истории, мы увидим, что концепция конкурентной политической системы с распределением между различными группами источников власти и разделением ее ветвей, с системами сдержек и противовесов исходила, в конечном счете, именно из выработанного многовековым опытом философского положения о том, что ни один человек, увы, не руководствуется перманентно в своих действиях только идеалами и законами; что ему свойственны слабости, стяжательство, тщесла-

вие, властолюбие, склонность некритично воспринимать собственное поведение, в искаженном свете видеть мотивы и результаты деятельности других людей. А пребывание «во власти» усиливает слабости и пороки даже у людей с большим жизненным опытом и отличной профессиональной подготовкой. Именно поэтому в долгосрочном плане только ограничение индивидуальной власти может сохранить ее эффективность и соответствие коллективным интересам, предотвратить или ограничить масштабные злоупотребления ею. В отличие от известного лозунга советского периода, утверждавшего, что «совесть — лучший контролер», мировые «отцы демократии» исходили из того, что в государстве только внешний контроль и распределение соответствующих функций между возможно большим числом субъектов минимизируют реальные злоупотребления, диктуемые личным страстями и корыстным интересом — в полном соответствии со столь хорошо воспринимаемой за океаном русской пословицей «Доверяй, но проверяй!».

Авторитаризм в России, если и переживал ранее период самоконтроля и самоограничения без адекватного давления снизу, то с очевидностью его перерос. На этой стадии зрелости, как отмечает и упоминавшийся ранее Д. Асемоглу, единственным мотивом к самоограничению элиты становится угроза социального бунта, революции<sup>16</sup>. Если эта угроза лишена

16 Теоретически таким ограничителем может быть и внешняя угроза, но для этого она должна быть очень серьезной, зримой и актуальной. В современных условиях такая ситуация встречается редко, еще реже она воспринимается в качестве таковой правящей группой. Практика показывает, что на профилактику потенциальных



остроты, неактуальна или хотя бы кажется таковой, тормоза не действуют, и частное присвоение административной ренты принимает все более масштабный характер.

Строго говоря, никакого способа точно измерить масштабы этого присвоения не существует — все «деятели экономической науки», претендующие на открытия в этой области, мягко говоря, пытаются ввести публику в заблуждение. Если доказательства роста масштабов присвоения и существуют, они носят характер локальных, частных свидетельств. Тем не менее, все свидетельства и косвенные признаки указывают на то, что в России второго десятилетия XXI века этот процесс идет и, более того, переживает определенный расцвет.

Так, основные виды издержек в российской экономике (стоимость труда, энергообеспечения, транспортные издержки, административная нагрузка, размеры арендных платежей, расходы на охрану собственности и др.) быстро росли все «нулевые» годы и после небольшой заминки, связанной с кризисом 2008—2009 гг., продолжили свой рост. Бюджетные возможности финансирования инвестиций, связанных с формированием общественной инфраструктуры, сокращаются, а их эффективность с очевидностью падает. Качество работ снижается даже

внутренних угроз — социальных волнений, неконтролируемых вспышек насилия и неповиновения, организованной оппозиции, на противостояние не самым опасным внешним оппонентам — авторитарные режимы тратят гораздо больше внимания и ресурсов, чем для защиты от возможного внешнего вторжения с той стороны, с которой действительно можно усматривать такие риски.

в рамках приоритетных для власти проектов с символическим и чуть ли не сакральным смыслом — например, проведения саммита АТЭС во Владивостоке или Олимпиады в Сочи.

Экономические начинания, преподносившиеся в качестве знаковых (например, финансовые «институты развития», госкорпорации в инновационных сферах, особые экономические зоны и многое другое) в лучшем случае предаются забвению, в худшем — становятся постоянным генератором негативных новостей. Предприятия и проекты, которые нынешняя власть долгое время представляла в качестве эталонных, становятся объектом ее же критики, произносимой публично и в самых жестких формулировках. Все чаще встречаются ситуации, когда экономические решения спустя значительное время после их принятия «подвешиваются», несмотря на уже произведенные значительные затраты.

Все это, вместе взятое, упорно наводит на мысль, что все более открытая нацеленность членов правящей группы на интенсивное освоение административной «ренты» делает все менее реальным решение каких бы то ни было перспективных задач, требующих значительного горизонта планирования и долгосрочной организации реализации и контроля. И это при том, что в авторитарной системе, в отличие от конкурентной модели, отсутствуют объективно мешающие долгосрочному планированию электоральные циклы и сопутствующие им краткосрочные интересы и мотивы.

Одновременно, как это ни парадоксально, подобное падение эффективности и утрата долгосрочных ориентиров являются косвенным свидетельством того, что постсоветский авторитаризм в России вступил в зрелую неототалитарную стадию, когда все существенные черты этой модели уже проявились и приобретают более или менее законченные формы. Другими словами, это говорит о том, что авторитарный режим уже переборол в себе все не свойственные ему порывы и потуги, связанные с личными амбициями и заблуждениями его лидеров, и на первый план теперь выходят объективные закономерности и свойства этой формы политического устройства общества. Последние же заключаются в том, что активный модернизационный потенциал авторитарной системы может быть связан только с личными мотивациями и энергией ее лидеров — никаких встроенных, автоматически действующих механизмов, которые бы действовали в этом направлении, система не содержит. Что же касается указанной мотивации, равно как и необходимой для ее действия энергии, то в силу биологической природы человека она действует лишь в течение исторически непродолжительного периода времени. На фоне слабой сменяемости власти, что является одной из существенных черт авторитаризма, это неизбежно приводит к загниванию авторитарных режимов в том смысле, что нацеленность на достижение национально значимых целей сравнительно быстро уступает место заикленности на получении и «распиле» правящей группой ее «законной добычи» в виде административной ренты.

## Поиски идеологии

Обычный исторически известный авторитаризм как политическая модель имеет несколько системообразующих признаков, немалую роль среди которых играет неопределенность идеологической основы.

Это связано, главным образом, с тем, что авторитарные системы занимают промежуточное положение между конкурентными системами, где идеология активно используется как идентифицирующий признак политических групп, соревнующихся между собой за право получить временный доступ к государственным рычагам, и тоталитарными системами, которые используют жесткие догмы той или иной тоталитарной идеологии как инструмент завоевания власти и ее последующего удержания.

Последние нуждаются в идеологии в форме некоего свода идей и представлений, который должен быть внедрен в сознание каждого человека и общества в целом как единственно истинный, поскольку является мощным средством политического контроля над обществом, мотивации его членов, а также мобилизации в защиту системы в тех случаях, когда в этом возникает необходимость. Тоталитаризм всегда и везде опирается в первую очередь на организованное насилие власти в отношении общества, но только на него он опираться не может — насилие является слишком слабым скрепляющим

материалом, если оно не сопровождается обработкой сознания людей с целью выработки у них идейной мотивации к поведению, ожидаемому от них системой и ее вождями. Отсюда — необходимость «единственно верного учения» и сопутствующих ему ритуалов, культов, образцов поведения, а также вечной и неутомимой борьбы с врагами этого учения — явными, скрытыми и даже потенциальными.

Но и конкурентным политическим системам также необходимы идеологические обоснования. Это касается как системы в целом, ее базовых принципов и общего устройства (демократия как идеология), так и конкурирующих внутри нее отдельных групп, которые соперничают между собой, по крайней мере внешне, не как кланы, возникшие по поводу общих личных интересов, а как группы единомышленников, выражающих те или иные общие представления о справедливой и эффективной политике.

Эти представления, в свою очередь, чаще всего объединяются (опять же, хотя бы внешне) некоторой системой взглядов относительно правильного, или справедливого устройства общества, что, собственно, и является тем, что мы называем идеологией<sup>17</sup>. Именно поэтому для конкурентных политических систем характерна, как правило, достаточно богатая идеологическая палитра, хотя интересы выживания системы и диктуют необходимость ограничения ее определенными рамками, в частности, подавления

17 Хочу сразу оговориться: здесь идет речь не об идеологии как части общественного сознания, присущего человеческой общности, а о конкретных идеологических системах как политическом инструменте. Первое, безусловно, шире.

различного рода тоталитарных идеологий, включая религиозные учения тоталитарного толка.

Авторитарные же системы, занимая некое промежуточное положение между двумя вышеназванными политическими моделями, отличаются, как правило, относительной слабостью идеологического окраса. Действительно, в рамках этой модели власть обычно не ставит перед собой задачу тотально контролировать умы своих граждан, добиваться от них единообразного взгляда на все социальные и политические процессы. Иногда отказ от подобного рода амбиций является сознательным выбором, иногда объясняется отсутствием необходимых для этого ресурсов, но, так или иначе, авторитарное государство не ставит перед собой такой цели и ограничивается контролем над финансовыми и административно-силовыми ресурсами.

Поскольку такого рода контроль вполне достаточен для обеспечения неприкосновенности и несменяемости власти, то духовной, идеологической сфере уделяется лишь минимальное внимание. Поскольку же цель обеспечить идейное единообразие и не ставится, авторитарная власть, как правило, допускает существование в обществе различных мировоззренческих течений, публичные дискуссии между ними и даже мягкие формы самоорганизации их носителей — до той поры, пока эта самоорганизация не ведет к появлению политических организаций, имеющих в своем распоряжении крупные ресурсы и способных претендовать на власть в государстве и обществе.

Более того, идеологические дискуссии в обществе объективно оказываются даже полезными для авторитарной власти, поскольку делают невозможным объединение всех недовольных в единый лагерь — этому начинают мешать очевидные идеологические различия между отдельными силами, заинтересованными в разрушении существующей системы власти, и чем шире идеологическая палитра, тем объективно менее вероятной становится какая-либо координация оппозиционных групп.

Сама же высшая власть в условиях автократии, хотя и пытается обозначать себя как некая идеологическая сила, делает это плохо — лениво, без энтузиазма и, как правило, без устойчивого результата. Связано это с тем, что в такой системе властные структуры комплектуются людьми, отобранными по критерию удобства работы и возможности извлечения доходов в виде административной ренты. От них, безусловно, требуется внешняя лояльность, но особых требований к образу мышления или взглядам на жизнь система, как правило, не предъявляет. Поскольку качества, необходимые для комфортной работы в рамках системы, распределены среди людей по естественным законам и не коррелируют жестко с их идеологическими предпочтениями, то и полученная выборка, как правило, представляет собой весьма пеструю в идейном отношении картину.

И хотя внешне, для работы «на публику» правящая корпорация обязательно окрашивается в определенные цвета (как правило, с упором на патри-

тизм и народность), внутреннего единства в ней нет. Если авторитарная система не перерождается в тоталитарную, она остается эклектичным соединением очень разных людей — и в идейном, и даже в культурном отношении. Соответственно, любые попытки создать объединяющую всех идеологию заканчиваются произнесением стандартного набора банальностей на фоне всеобщего откровенного лицемерия.

И эта черта авторитаризма в полной мере проявилась в российской политической системе 2000-х годов. В начале процесса становления авторитарной власти, а именно в 1990-е годы, когда отказ от конкурентной политической системы как ориентира для постсоветской России был еще не столь очевиден, правящая команда пыталась как-то отделить себя идеологически от тех сил, которых она двигала на роль оппозиции, и активно примеривала на себя ампулу «реформаторов». Это облегчалось тем, что цели, официально провозглашавшиеся в качестве ориентиров для деятельности правительства, отличались размытостью и разделялись абсолютным большинством правящей группы — переход к рынку, развитие частной собственности, облегчение контактов с внешним миром, признание идеологического плюрализма и т.д. При этом очевидное отличие этих целей от основополагающих принципов советского периода позволяло говорить о «политике реформ», «реформаторском духе» и т.п.

Однако в 2000-е годы ситуация поменялась. С одной стороны, обострившееся за 1990-е годы социальное

неравенство и, главное, ставшая всем очевидной иллюзорность массового предпринимательства как средства повышения народного благосостояния резко снизили популярность идей «рыночных реформ» (оставим при этом за скобками вопрос о том, насколько рыночными были принципы, на которых формировалась новая российская экономическая система, о чем я уже неоднократно писал).

С другой стороны, психологическая усталость от неопределенностей и неудобства, связанные с резкими переменами в социальной и профессиональной структуре общества в 1990-е годы, породили общественный запрос на стабильность и предсказуемость. В том же направлении действовало массовое разочарование в любой фразеологии: оказалось, что свободное слово, которое в 1980-е годы многим казалось ключом к переменам к лучшему, само по себе не приносит ни осязаемых благ, ни реальных перемен в жизни общества.

В результате, по мере того как авторитарная власть в первой половине «нулевых» годов консолидировалась и начала ощущать свою силу и зрелость, ее идеологическое лицо становилось все менее выразительным.

Так, из публичных заявлений и выступлений окончательно исчезла рыночно-реформаторская риторика, ушел антикоммунистический задор середины 1990-х. Постепенно отошла на задний план и тема приверженности демократическим ценностям, уважения политических прав и свобод. С другой стороны, добавившаяся тема ностальгии по советским

временам не привела ни к реставрации марксизма как государственной идеологии, ни к последовательному сдвигу к левой социалистической идеологии в ее западноевропейском варианте.

Новой ипостаси власти скорее импонировал имидж «центризма», приверженности идее практической созидательной работы (в противовес, якобы, «болтунам» из оппозиции), «реального» рдения о народных интересах. С одной стороны, это позволяло ей привлекать в свои ряды людей с самыми разными идейными пристрастиями и различным политическим прошлым, а с другой — давало необходимую гибкость в работе с широким спектром активных групп и слоев населения, позволяло не отталкивать от себя окончательно крупные, значимые социальные и профессиональные strаты.

Этому способствовало и то, что доходы населения и финансовые возможности государства в начале 2000-х стали быстро расти, и это позволяло верховной власти внушать оптимизм относительно будущего и раздавать разнообразные «подарки» в обмен на сдержанную лояльность, не требуя при этом идеологического единообразия.

В каком-то смысле идеологическая пассивность власти в середине 2000-х годов была свидетельством прочности ее положения — растущий объем финансовых потоков в стране и возможность их контролировать делали излишним поиск дополнительных идейных «скреп» для обеспечения несменяемости существующей власти. Власть чувствовала себя слишком уверенно и комфортно, чтобы

вставать на скользкий путь поиска определенной официальной идеологии, предпочитая туманную и всеядную концепцию «работы на благо народа, на благо государства».

И лишь к концу десятилетия, когда стало очевидным, что период почти автоматического быстрого роста доходов завершается (как все хорошее, он просто объективно не мог длиться слишком долго), а возможности присвоения и распределения административной ренты наталкиваются на достаточно жесткие пределы, поиски дополнительной опоры в идеологической сфере с очевидностью активизировались.

Процесс, к тому же, стимулировался и тем обстоятельством, что оскудение возможностей, связанное с затуханием роста доходов, наложилось на выборный цикл 2011—2012 гг. При всей уверенности власти в контролируемости итогов выборов, уже сам факт их проведения и неизбежно сопутствующая им предвыборная активность всех политических сил порождают дополнительное напряжение в системе, для которой выборы сами по себе являются, по сути, чужеродным элементом. Не говоря уже о том, что обострение политических дебатов, до того достаточно вялых, может оказать нежелательное, с точки зрения власти, влияние на массовые умонастроения, породив смутное брожение и готовность поддержать, в случае нештатной ситуации, «экстремистские» силы, способные подрвать контроль власти над ситуацией.

В силу всего сказанного, в начале 2010-х гг. интерес власти к обретению более определенного идеологи-

ческого лица заметно усилился, а направление соответствующих усилий определилось стихийно — консервативно-охранительная идеология защиты власти как единственного выразителя национальных интересов и противодействия любым политическим переменам. Собственно, отсюда все те тенденции, которые мы воочию наблюдали в начале 2010-х гг. и продолжаем наблюдать сегодня.

Если попытаться перечислить наиболее заметные из них, получается приблизительно следующая картина.

Во-первых, это настойчивая пропаганда идей сильной власти, под которой понимается не столько ее действенность или способность поддерживать закон и порядок, сколько неоспоримость, неприкосновенность и некий мистический смысл, позволяющий отождествлять ее с государственностью в целом<sup>18</sup>. В новой системе координат государство не просто равно существующей власти, оно превращается в функцию от нее, так что покушение на власть представляется попыткой уничтожить, ликвидировать государство.

По существу, на вооружение принимается идея самодержавия, но даже не в имперско-романовском смысле, а в смысле политического евразийства, то есть власти по-язычески «сакральной в самой себе»,

<sup>18</sup> Некоторые публицисты в качестве смысла «сильной власти» в понимании нынешней правящей группы называют независимость ее от общества, что тоже верно. Но все-таки главное, что в представлении этой группы отличает сильную власть от слабой, — это ее умение подавить любое действие, грозящее лишить ее возможности править и управлять, а также любое сомнение в том, что она имеет на это право.

не подотчетной никаким институтам как якобы естественной и единственной формы существования российской государственности и «единственно» гарантирующей ее от раскола. И хотя формально в этой системе сохраняются выборы как форма легитимации верховной власти, идеологически они подаются не как выбор одного кандидата из нескольких равных, а как самоотверженная борьба единственного и безальтернативного «царя-вождя» с самонадеянными попытками людей из «не-власти» (своего рода «самозванцами») занять место законного хозяина престола. Отсюда и демонстративное отсутствие главного кандидата на дебатах (самодержец не может опускаться до личной полемики с самозванцами), и ореол державности в подаче его в государственных СМИ, и подчеркнутая поддержка его иерархами главной в стране конфессии. Сами выборы главы государства в этой системе координат превращаются в ожидаемое и всячески поощряемое выражение поддержки власти народом — поддержки, в основе которой не трезвая оценка качества политического управления и, как следствие, качества жизни, а защита власти, олицетворяющей государство, от разного рода «раскольников», субъективно или объективно его ослабляющих.

Во-вторых, и это естественно вытекает из первого постулата, поддержка власти провозглашается гражданским долгом всего народа и каждой его части, сколь бы ни были велики противоречия между этими отдельными частями. Соответственно, отказ в поддержке и, тем более, бунт против власти

прямо или косвенно становится свидетельством непринадлежности ее противников к народу. Это подается в лучшем случае как искреннее заблуждение под влиянием разного рода вредных идей, в худшем — как следствие нелюбви к народу, его непонимания или сознательного предательства его интересов.

Особенно заметной эта нота стала в самые последние годы — стремление представить всех противников власти в качестве асоциальных, антинародных элементов, в качестве людей, принадлежащих к другому (нерусскому, нероссийскому) обществу, становится одним из главных мотивов политико-идеологического вещания главных государственных СМИ. Более того, все назойливей звучит мысль, что все противники и соперники власти есть пятая колонна, управляемая из-за рубежа в интересах разрушения российской государственности, распада и раздела страны, ее порабощения и т.д.

Такой идеологический трюк выполняет две главные задачи — с одной стороны, он лишает массовой опоры ту часть оппозиции, которая выступает за «европейский выбор» России, а с другой — ограничивает возможности тех, кто называет себя патриотической оппозицией, подрывая их политическую базу и маргинализируя, ставя перед выбором: поддержать власть или получить ярлык экстремистов, которые не должны допускаться к властным рычагам.

В-третьих, это идея враждебного окружения, которая, на самом деле, является естественным дополнением двух отмеченных выше положений.

Действительно, власть, которая является монопольным выразителем идеи государственности и народности, должна противостоять враждебным силам, стремящимся ее, эту государственность, погубить и уничтожить. Соответственно, объединение всех частей и слоев народа вокруг этой власти предполагает, что враждебные ей силы располагаются где-то вне страны, за ее пределами, и являются для государства внешним врагом и угрозой. Отсюда естественным образом вытекает становящийся все более отчетливым подчеркнутый антиамериканизм и, шире, антизападный настрой, публично исходящий от правящей группы; указывание пальцем на Запад и, особенно, на США как на извечного и непримиримого врага российской государственности.

Пропагандистское выдвижение Запада на роль и главного и практически единственного внешнего врага российской государственности является логичным и почти «безальтернативным», хотя, если бы пропаганда была по-своему более честной и отважной, она могла бы усмотреть экзистенциальный вызов и в пугающе быстром подъеме Китая, и в последовательном распространении воинствующего радикального политического ислама.

Однако в силу ряда обстоятельств в качестве главной угрозы и главного врага наиболее удобным оказался Запад. С одной стороны, он менее остро реагирует на конфронтационную риторику, чем агрессивный политический ислам или Китай, отвечая на нее, как правило, также исключительно вербально. По существу, Запад принял правила рос-

сийского политического постмодерна, когда можно публично называть западный истеблишмент врагом российской государственности и одновременно требовать от него для себя безвизового режима и поощрения взаимной торговли и инвестиций. В то же время российская власть прекрасно отдает себе отчет в том, что попытки сыграть в подобные игры с тем же Китаем (не говоря уже о том, чтобы, например, попытаться установить свой контроль над его внутренними распределительными сетями) будут пресечены сразу же и самым резким образом.

С другой стороны, коллективный Запад является естественным общим врагом для очень разных сил и течений внутри России, выступающих с позиции идеализации традиционного общества и противопоставления его «испорченному» либеральными веяниями («либеральной заразой») современному постиндустриальному обществу<sup>19</sup>. С точки зрения мобилизации негативной общественной реакции потенциал Запада заметно превышает возможный эффект в случае с альтернативными ему кандидатами на роль главного внешнего врага.

И наконец, как самая мощная на сегодняшний день мировая сила, Запад отвечает амбициям российской элиты, с советских времен привыкшей считать себя одним из центров мира. Несмотря на рост

19 Не следует упускать из виду и то, что не только в пропагандистском смысле Запад является удобной мишенью, но и по существу он опасен прежде всего тем, что символизирует принципы наиболее опасные и разрушительные для российского политического режима периферийного авторитаризма: равенство перед законом, независимость правосудия, неприкосновенность частной собственности, механизмы контроля власти обществом.



относительной значимости в мировой политике стран бывшего третьего мира, ни одна из них, включая Китай, ни даже все они в совокупности не выглядят в глазах российского населения и российской элиты соперником, достойным бывшей «сверхдержавы».

Помимо этого, нынешняя авторитарная власть видит в США и Западной Европе единственных политических игроков в мире, обладающих мотивами и, пускай очень ограниченными, инструментами укреплять в России силы, которые были бы неподконтрольны или не вполне подконтрольны этой власти. Все остальные мировые игроки, с точки зрения российской власти, не обладают для этого ни необходимыми ресурсами, ни достаточно сильным желанием.

И при всей сравнительной незначительности прямой поддержки с Запада ориентированных на европейскую политическую культуру российских гражданских структур, при всей слабости «вербальных оценок» со стороны Запада в адрес российской политической системы — в силу значительной исторической общности народов России и Европы, если однажды западные «вербальные вызовы» войдут, так сказать, в психологический резонанс с российским массовым сознанием, то с российской постсоветской системой может произойти если не коллапс, то серьезный идейный кризис.

Многочисленные за последние пятнадцать лет примеры как мирных «цветных революций», так и сходных противостояний, вылившихся в применение силы, не выглядят как нечто легко транслируемое

на российскую почву. Однако сегодня нет, а завтра, вдруг, да, — и во властной корпорации это вызывает существенный, пускай и несколько иррациональный страх.

Таким образом, взгляд на США и НАТО как на врагов и главных потенциальных противников, будучи удобен с точки зрения идеологической борьбы с внутренней оппозицией, одновременно отражает реальные опасения правящей группы относительно вмешательства Запада в вопросы, которые она считает своим сугубо внутренним делом.

Так или иначе, антизападная риторика стала важной составной частью идеологического лица авторитарной власти, и списывать ее на конъюнктурные соображения или удобство в плане решения текущих краткосрочных задач было бы неверно.

В-четвертых, все более заметной становится сознательная накачка коллективной самооценки российского общества.

В принципе, это обычное и в этом смысле совершенно нормальное явление — в любой стране, где есть гражданское общество, оно естественно нуждается в коллективном самоуважении, для чего в ход идут и исторические эпизоды (военные победы и территориальные завоевания), экономические успехи, спортивные достижения и многое другое. Само по себе подобное обращение ко всякого рода «победным страницам» прошлого и настоящего еще не является какой-то особой формой идеологии — идеология начинается там, где эти успехи

начинают использоваться для оправдания отсутствия нормальной жизни, отсутствия или неадекватности функционирующих общественных институтов («зато мы делаем ракеты...»), неясности будущей модели развития государства и общества.

Грань между первым и вторым, конечно, довольно тонкая, но когда ее явно переступают, это ощущается безошибочно. Это происходит, например, когда историю начинают активно использовать для создания мифологии, «опрокидываемой» в настоящее и будущее, якобы свидетельствующей о некоей «особой роли» или мистическом «предназначении» указывать путь другим странам и народам. Когда принимаются законы об уголовном преследовании за сомнения в исторических успехах или в особой исторической миссии страны и народа. Когда спортивные мероприятия начинают признаваться государственно-политическим мероприятием, а успехи и достижения спортсменов увязываться с «курсом партии и правительства» и использоваться для пропаганды правящей группы. (Тем, кто рос в советское время, добавлю в скобках, все это должно быть хорошо знакомо.)

Перейдена ли сегодня описанная выше грань? По моим ощущениям, сегодня, когда пишутся эти строки, пока еще не совсем или, во всяком случае, не так вызывающе демонстративно. Однако предпосылки к тому, чтобы окончательно пересечь эту грань, активно формируются.

И, наконец, в-пятых, достаточно значимым элементом новой идеологии власти стала опора на

пропаганду так называемых «традиционных», доиндустриальных взглядов на такие институты, как семья, религия и церковь, национальное государство. Делается все это в сугубо «евразийском» исполнении, когда на место переставших быть «эффективными» марксистско-ленинских социальных идей ставится «традиция» — семейная, конфессиональная, государственная, понимаемая, разумеется, сугубо внешне и исторически превратно. При этом интенсивность, неграмотность и цинизм такой идеологической работы вполне соответствует худшим тоталитарным образцам.

В это русло укладываются и агрессивная позиция в отношении разного рода меньшинств, и придание религии и церкви государственных функций, и стремление придать государству национальный (в смысле этничности) характер, закрепив статус коренного этноса идеологическими и политическими средствами (избегая пока, впрочем, мер формально-юридического характера).

Кстати говоря, в этом отношении новая идеология авторитаризма в России представляет собой явный разворот по отношению к идеологии советского времени. Если в остальных вышеописанных аспектах (власть как данность, не могущая быть поставлена под сомнение; провозглашение несогласных антинародом и «отщепенцами»; существование страны в условиях мощного враждебного окружения; нагнетание высокой коллективной самооценки как замены нормальной работы институтов) новая идеология смыкается с советской, то в последней

своей части она в значительной мере ее отрицает, возвращаясь к наследию досоветского периода.

По сравнению с позднесоветской эпохой разница в акцентах очень ощущается в том, что касается этнических вопросов. Несмотря на то, что фактически советская власть исходила из главенствующей роли русского языка и культуры, а также необходимости плотного политического контроля за национальными меньшинствами, формально она опиралась на тезис о равенстве культур (аналог европейской концепции «мультикультурности») и необходимости интеграции населяющих страну народов в некую единую «советскую» общность.

Соответственно, даже при наличии механизмов квотирования представленности тех или иных этнических групп в органах управления, силовых структурах, а также в «чувствительных» сферах культурно-образовательной и научно-производственной деятельности, публичные призывы к национальной розни жестко пресекались. Ситуация, когда на каналах государственного телевидения звучали бы призывы «выгнать из Москвы мигрантов», под которыми реально понимаются все люди нерусской внешности, или «закатать в асфальт» те или иные национальные меньшинства, в позднесоветский период была, конечно, немислимой. Попытки устроить стихийные погромы, которым сегодня вполне системные фигуры и даже представители официальной власти публично выражают сочувствие и моральную поддержку, в советский период пресекались со всей жесткостью тогдашнего силового аппарата.

При этом как в идеологическом плане, так и в плане своего практического курса, власть готова идти путем отсталых неевропейских «этноконфессиональных» политических режимов с характерной для них кантонизацией, разделением на этноконфессиональные анклав, в рамках которых на руководство конкретных конфессий возлагается роль регулирования — с внешней стороны — религиозной и культурной жизни населения при одновременной фактической интеграции ряда официальных религиозных деятелей во «властную вертикаль».

Весьма сложен вопрос с отношением к экстерриториальным меньшинствам. Советская система взглядов, как и любая тоталитарная идеология, исходила из необходимости унификации мировоззрения всех подотчетных ей личностей и в этом смысле концепция защиты прав меньшинств была ей глубоко чужда. Тем не менее, она де-факто признавала наличие объективно или исторически обусловленных различий между людьми по признаку этнического и социального происхождения, культурных приверженностей и др. Не признавая за меньшинствами права нарочитой демонстрации своей особенности (в Советском Союзе были немислимы ни «еврейский конгресс», ни «казацье войско», ни пресловутый «гей-прайд»), проводя в отношении ряда из них в реальности репрессивную и ограничительную политику, она все же после 1953 года не допускала их откровенной публичной травли, во всяком случае до тех пор, пока те придерживались навязанных им рамок поведения.

В новой же российской реальности меньшинства либо встраиваются в систему в рамках отводимой им властью роли в соответствии с их готовностью эту роль выполнять, либо становятся объектом официально санкционированных атак. При этом соответствующие публичные атаки имеют целью не физическое изгнание меньшинств (во всяком случае, пока), а предоставление большинству возможности ощутить свое превосходство хотя бы над частью соотечественников и, одновременно, высвободить часть накапливающейся в обществе агрессии. Очевидно при этом, что по мере увеличения агрессии — а причиной могут быть и экономические трудности, и изменения этнодемографической структуры на отдельных территориях и в «чувствительных» сферах деятельности, и дезорганизация жизни в результате роста коррупции и общей слабости власти — эта часть идеологического лица авторитарной власти в России будет принимать все более отчетливые и жесткие формы. Последнее будет отражаться как на контенте массового телерадиовещания, которое будет приобретать все более «имперский» характер в смысле выстраивания строгой иерархии ценностей и их носителей, так и на практической политике, которая в возрастающей степени будет провоцировать агрессию по отношению к идеологическим и тем или иным национально-культурным меньшинствам.

И все-таки, возвращаясь к началу этой главки, я должен заметить, что характерная для последних лет все более отчетливая идеологизация российской власти, ее попытка найти себе дополнительную опору

ру через более агрессивную обработку общественного сознания<sup>20</sup> является свидетельством того, что пик прочности системы уже пройден, и брожение в обществе — брожение, захватывающее, в первую очередь, наиболее активные его слои, — усилилось настолько, что правящая группа ощущает его и ощущает настолько всерьез, что бывшая уверенность в достаточности стратегии неидеологического контроля за ситуацией — стратегии относительно комфортной и безопасной — начинает стремительно таять.

Новая стратегия, основанная на подчеркнутой идеологизации власти, на самом деле является гораздо более рискованной, поскольку будит и поднимает в обществе силы с большим деструктивным потенциалом. Понятно, что власть рассчитывает контролировать эти силы и использовать их исключительно против своих оппонентов. Однако контроль над разрушительной стихией — крайне сложная задача, а расчеты на то, что ее слепая сила не вырвется на свободу и не разрушит само общество с его сложными и хрупкими балансами — это, в лучшем случае, сознательно допускаемый огромный риск, а в худшем — проявление преступной самонадеянности. О будущем мы чуть позже еще поговорим.

<sup>20</sup> И я должен отметить, что в этом своем ощущении я не одинок — я мог бы дать ссылки на множество интервью, блогов и др., в которых достаточно серьезные фигуры политического бомонда и его аналитики, не склонные к экзальтации, отмечают нарастание в 2012–2013 гг. тяги власти к формированию и внушению обществу описанных мною выше идеологем.

## Коррупция как система

Как я уже говорил ранее, в России сложилась не просто авторитарная система власти, а система, функционирующая в конкретных, особых условиях трансформации деградировавшей и, в итоге, не сумевшей справиться с вызовами времени советской системы в капитализм периферийного типа, — капитализм, не имеющий собственных источников роста и функционирующий на окраине глобального рыночного хозяйства.

Подобные условия не могли не придать российскому авторитаризму ряд специфических черт, на которых я собираюсь подробнее остановиться ниже. И первая из них — это, конечно, очень высокий уровень коррупции системного свойства.

Этот тезис, естественно, нуждается в подробном пояснении. В принципе, коррупция есть явление универсальное — в той или иной степени ею поражены все общества с высокой степенью организации. Более того, чем выше степень организации общества, тем в большей степени в нем присутствует коррупция, если понимать ее не узко, как примитивное взяточничество, а в широком смысле, включая такие вещи, как наличие конфликтов интересов у государственных служащих, использование инсайдерской информации, сознательное продвижение и обслуживание частных интересов с корыстными целями и т.д. Целый ряд «пограничных» явлений,

характерных для развитого общества, как, например, защита депутатами представительных органов власти интересов финансирующих их выборные кампании групп и профессиональных сообществ, или информационное содействие политиков, занимающих выборные должности в государственном аппарате, «своим» средствам информации и консультативным структурам, также можно считать формой коррупции в расширительном толковании этого слова. Так что когда мы говорим о системной коррупции как отличительном свойстве российской и подобных ей политических систем, их отличает не само наличие коррупции в системе, а ее масштабы и формы, а точнее, особая роль, которую коррупция играет в функционировании системы в целом.

Формы коррупции в ее нынешнем российском варианте, конечно, не оригинальны и вполне соответствуют универсальным, тысячи раз описанным и в научной, и в популярной литературе, и даже в беллетристике. На нижних этажах управления, где органы управления распоряжаются сравнительно небольшими объемами ресурсов, естественно, преобладают наиболее примитивные ее формы — банальное воровство и взяточничество; откаты от заказов, оплачиваемых из общественных («бюджетных») денег; привлечение к их выполнению фирм, прямо или косвенно, полностью или частично принадлежащих распорядителям этих заказов.

Те же формы, конечно, присутствуют и на верхних уровнях чиновничества, но там они дополняются более изощренными формами, например,

административной защитой и обеспечением преференциального режима для собственного семейного бизнеса, формированием сложных схем родственных и дружеских отношений, нацеленных на извлечение персональных выгод из своего положения высокого государственного чиновника; сложных, многоходовых схем вымогательства по отношению к частному бизнесу и др.

Вместе с тем неразвитость и крайняя уязвимость общественно-экономических институтов, характерная для «периферийного» типа капитализма, обуславливает в российском случае, как минимум, две особенности, отличающие здешние формы коррупции от того вида, в котором она существует в странах ядра мирового капитализма. А именно: во-первых, это относительно слабое развитие сложных и завуалированных форм коррупции, требующих для своей реализации гораздо более развитых институциональных форм. А во-вторых, это более явно выраженная связь коррупционного обогащения с оттоком средств из страны.

Что касается первой из названных черт, то она является естественным следствием неразвитости крупного частного бизнеса и обслуживающих его институтов.

Действительно, например, фондовый рынок, представляющий собой важнейший инструмент обогащения с использованием доступной высокопоставленным государственным чиновникам важной конфиденциальной («инсайдерской») информа-

ции, играет в российской экономике крайне ограниченную роль. Его оборот, равно как и набор, и сложность обращающихся на нем финансовых инструментов, невелик по сравнению с мировыми центрами. Соответственно, использование инсайдерской информации для обогащения через биржевые операции, или через использование иных форм сделок с финансовыми активами, стоимость которых можно предсказать на основе эксклюзивной информации, имеет в России весьма ограниченный потенциал.

Аналогично отсутствуют сколько-нибудь серьезные возможности для лоббирования интересов частного бизнеса посредством законодательной инициативы и законотворческой деятельности в целом. Во-первых, потому что законодательные органы не имеют возможности самостоятельно, в обход исполнительной власти, выступать со сколько-нибудь важными инициативами. А во-вторых, потому что роль закона в определении реальных условий ведения бизнеса и распределении его результатов в системе капитализма периферийного типа вообще крайне ограничена. В этой ситуации расходы на парламентское лоббирование имеют мало шансов окупиться как в средне-, так и в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том, что использование средств бизнеса для получения выборных постов в нынешних российских условиях затруднительно как по причине самих этих условий (контролируемость выборов авторитарной властной вертикалью), так и по причине крайней малочисленности

таких постов с реальными полномочиями и индивидуальной свободой действий.

Да и распределение финансовых потоков в данной нам реальности настолько сильно завязано на административный ресурс, что попросту не оставляет места для по-настоящему сложных и многоступенчатых форм влияния. А именно: лица, не допущенные в пресловутую вертикаль, не имеют реальных возможностей существенно повлиять на характер и направление финансовых потоков, а у тех, что допущены, нет необходимости искусственно усложнять процесс использования их к собственной выгоде — само назначение на соответствующее место рассматривается всеми как своего рода «приглашение к обеду», подразумевающее автоматическую выдачу мандата на личное обогащение, причем методами достаточно открытыми, простыми и незамысловатыми.

Что же касается второй особенности, а именно: тесной связи коррупционного обогащения с вывозом капитала, то она также обусловлена рядом взаимосвязанных обстоятельств. Во-первых, если размер получаемого коррупционного дохода превышает размеры личного потребления и начинает приобретать характер капитала, предназначенного для пассивного инвестирования, то возможности вложить его внутри страны ограничены высокими рисками, которые растут по мере объема вложенных средств. Если хозяин средств не имеет возможности лично управлять своим капиталом в виде бизнеса, шансы потерять «заработанные» и отданные в чужое

управление средства в рамках существующей системы недопустимо велики.

Но даже если отвлечься от вопроса о рисках, периферийный характер российского капитализма объективно ограничивает сферы возможного производительного использования нового капитала. В главном секторе российской экономики — сырьевом — господствует группа крупных компаний, и вход туда для «новичков», тем более с частными средствами, практически закрыт. Обрабатывающая промышленность жизнеспособна только в ограниченном числе узких сегментов, а начинания в сфере высокотехнологичного бизнеса практически во всех успешных случаях приводят к необходимости, чаще всего объективно обусловленной, вывести свой бизнес в интеллектуальное, техническое и организационное пространство «центральных» для мирового бизнеса современных экономик. Уже в силу этого субъекты коррупционного первоначального накопления капитала, рассчитывающие в будущем воспользоваться его плодами, существенную его часть помещают в зарубежные активы (прежде всего, в недвижимость, а также в создание и развитие какого-либо семейного зарубежного бизнеса), формируя тем самым определенную и, скорее всего, значимую часть исходящего потока капитала из страны.

Во-вторых, и это тоже есть следствие периферийного характера российского капитализма, по мере формирования и роста в России слоя богатых и просто очень обеспеченных людей их тяга к тому, чтобы

стать полноценной частью мировой элиты, центром которой является сегодня условный Запад, растет и будет продолжать расти.

Этот процесс объективен и неостановим: в условиях глобализации дети преуспевающей элиты всех регионов развивающегося мира — от Индии до Африки и Латинской Америки — обзаводятся собственностью в США и Западной Европе и размещают там солидную часть своих семейных активов. Это происходит, несмотря на психологическое сопротивление и даже активное внутреннее неприятие Запада первым поколением разбогатевших локальных элит, многие представители которого хотели бы сохранить и идейную, и физическую независимость от чужого и чуждого им «западного» мира. Но со сменой поколений, а во многих случаях и до нее, объективные законы функционирования крупных капиталов берут верх, и даже мощные идеологические преграды (например, политический ислам в арабском мире) оказываются не в состоянии запретить крупные состояния и их владельцев в местах их первоначального происхождения.

Не удивительно поэтому, что и получившая широкую рекламу кампания российской власти по так называемой «национализации элит» с самого начала имела ограниченный характер, да и проводится не слишком энергично и настойчиво. В отличие от многих других, порою гораздо более неуместных и бессмысленных официальных инициатив, именно эта кампания с самого начала встретила откровенные возражения и эффективное внутриэлитное

противодействие, существенно охладившее первоначальный энтузиазм части провластных фигур, проявивших в этом вопросе готовность «бежать впереди паровоза». Да и статистика оттока капитала в 2013 г. показала, что меры по принудительному закрытию зарубежных счетов высокопоставленных чиновников сопровождались скорее интенсификацией вывоза капиталов (к сожалению, статистически отделить вывоз капиталов российскими гражданами от репатриации капиталов иностранными гражданами практически невозможно, поэтому речь может идти только о предположениях, с высокой долей вероятности отражающих реальные процессы).

Но главная особенность «периферийной» коррупции заключается все-таки не в ее формах, а в масштабах. При всем размахе коррупционных скандалов, которые периодически потрясают «центр» мирового капитализма — США и страны Западной Европы, — нельзя не заметить, что это все же коррупция, которую условно называют «верхушечной». То есть она затрагивает, в основном, персонажей из высшего слоя государственного аппарата, которые используют связанные с их служебным положением возможности в личных целях. Однако она почти никогда не превращает подшефные им ведомства в целом в преступные структуры, функционирующие в результате возможности получения ими коррупционных доходов и, в сущности, ради их получения. Более того, сам факт этих скандалов говорит о том, что в обществе и государстве существуют механизмы (пусть даже в их основе лежит конкуренция ведомств и нежелание членов политического класса



позволить своим коллегам-соперникам наживаться за счет нарушения правил этой конкуренции), пресекающие коррупционную деятельность высших должностных лиц до того момента, когда они сумеют развратить подчиненные им ведомства до такой степени, что те перестанут выполнять объективно необходимые государственные функции.

Это, я должен заметить, принципиально важный момент, отличающий допустимую степень коррумпированности государственного аппарата от фатально разрушительной. Вопреки распространенному стереотипу так называемая «бытовая коррупция» убивает государственную власть гораздо быстрее и полнее, чем «верхушечная». Во-первых, потому что свидетельствует о том, что власть утратила контроль за работой государственного аппарата в целом, или, по крайней мере, важнейших его частей. А во-вторых, именно этот вид коррупции убивает доверие населения к государственным институтам в целом.

Действительно, если низовые и средние звенья государственных ведомств, от которых зависит нормальная жизнедеятельность населения и бизнеса, исправно выполняют возложенные на них функции, тот факт, что главы этих ведомств, образно говоря, позволяют себе взять лишнего, не слишком дезорганизует жизнь страны и общества. Если полиция борется с преступностью, налоговые органы обеспечивают государство доходами, контролирующие органы обеспечивают выполнение законов и инструкций, а государственные врачи и учителя

лечат и учат, а не вымогают взятки и подношения, то наличие даже существенных злоупотреблений полномочиями в высшем эшелоне не является столь уж катастрофичным для государства явлением.

Однако законы жизни таковы, что если эти злоупотребления наверху не пресекаются периодическими расследованиями и жестким наказанием виновных, ржавчина коррупции быстро распространяется по всей вертикали, и соответствующие структуры легко превращаются из общественных институтов в преступные корпорации, единственной целью и смыслом существования которых становится извлечение и максимизация личных доходов от своего монопольного контроля над той или иной сферой жизни общества. Что же касается изначальных функций этих ведомств, то в такой ситуации они либо не выполняются вообще, либо выполняются формально и «по остаточному принципу», что не может не сказываться на эффективности государства в целом как комплексного института.

Более того, в таких условиях и само государство в значительной степени меняет свой характер: из института, имеющего социальные цели, не сводимые к благополучию правящей группы или даже более широкого круга привилегированных общественных групп и слоев, оно превращается в институт, обслуживающий исключительно групповые цели и задачи. В таком случае никто уже всерьез не ожидает и не требует от индивидуальных ведомств выполнения каких-либо общественных задач — от них требуется лишь выполнение обязательств перед другими,

более сильными группами, а все ресурсы, превышающие их объем, необходимый для выполнения этих обязательств, рассматриваются как собственность ведомств, которую они вправе использовать в своих частных интересах и по своему собственному усмотрению.

Другими словами, если в том или ином обществе в ходе исторического развития сформировалось государство того типа, которое мы можем назвать «современным», то есть государство как общенациональный институт, решающий задачи, отличные от поддержания господства и власти одной, хотя бы и весьма широкой группы лиц, то коррупция, если ей позволяют перейти определенные пределы, возвращает государство к его, условно говоря, «досовременному» типу. Типу, при котором государство является совокупностью административно-властных корпораций, организованных по территориальному, отраслевому или, иногда, функциональному признаку, каждая из которых решает задачи своего собственного выживания и благосостояния и лишь в минимальной степени признает некие обязательства перед более сильными из своего числа.

Такой тип государства в сегодняшнем мире несовместим с существованием конкретной страны, в которой он укореняется, в качестве части передового ядра всемирного хозяйства и мирового капитализма. Однако на периферии этого всемирного хозяйства такой тип государства может существовать в течение исторически длительного периода времени, не входя в острое противоречие ни с объ-

ективными потребностями «периферийной» экономики, ни с нуждами общества, погруженного в ответственное состояние такой экономике.

Если теперь от общих рассуждений вернуться к нашему случаю современного российского авторитаризма, то, на мой взгляд, можно с большой степенью уверенности утверждать, что при всех специфических российских особенностях мы являемся свидетелями закрепления у нас именно такого, «досовременного» типа государства, и решающую роль в этом процессе играет коррупция.

Хотя терпимое отношение к коррупции было характерно для всех периодов постсоветского российского строительства капитализма, для нее характерна вполне определенная динамика — не очень заметная на коротких временных отрезках, но достаточно ярко проступающая в длительной перспективе, которая уже привела к долговременному ослаблению исполнения основных функций государства современного типа. К таковым, в частности, относятся: поддержание, хотя бы в основном, формального соответствия закону действий организаций и граждан; защита граждан от проявлений произвола и насилия; обеспечение исполнения гражданских договоров и контрактов; оказание на безвозмездной основе необходимого минимума социальных услуг.

Да, процесс эрозии этих государственных функций пока еще не привел к их реальному и полному параличу, но трудно не заметить общей тенденции, и простая ее экстраполяция на не самое отдаленное будущее рисует нам вполне определенную картину.

Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. Говоря о переходных экономиках, сторонники институционального подхода часто склоняются к частичному оправданию коррупции с функциональной точки зрения — как возможности перераспределить ресурсы старой элиты в пользу новой, избегая прямого столкновения между ними. Благодаря такому подходу коррупция предстает не как вариант отклоняющегося поведения, а как расхождение ранее сформированных норм и вызванных новыми условиями моделей поведения. Согласно логике функционалистов, коррупция отмирает сама собой по мере ослабления противостояния двух нормативных систем, когда новые правила вытесняют старые и одна элита сменяет другую.

Но, во всяком случае, в нашем российском случае 1990—2000-х гг. такого рода переход не получился. Скорее, получилось совсем иное: коррупционные схемы стали основой экономической деятельности. Они подмяли под себя и механизмы рыночной конкуренции, и государственное регулирование. Если коррупционные методы и рассматривались кем-то как транзитные, на практике произошла их долговременная институционализация.

При органическом слиянии бизнеса и власти, в условиях институционализации конфликта интересов, его повсеместном и всеобъемлющем характере коррупция приобрела качественно иной характер, нежели отклонение от правил и законов. Она сама становится правилом и естественной нормой поведения. Коррупция трансформирует все обществен-

ное сознание и порождает парадоксальное явление: законы заведомо принимаются для того, чтобы их нарушать. Человек, принципиально не участвующий в коррупционных действиях, в значительной, часто решающей мере не имеет доступа к социальным лифтам и очень рискует экономически не выжить. Успешность конкретного члена общества фактически оценивается по его умению безнаказанно нарушить закон — и не просто безнаказанно нарушить, а сделать это с максимальной выгодой.

И дело не в иррациональном, архаичном, традиционалистском отрицании «писаного закона». Это как раз наиболее рациональное поведение в предложенных обстоятельствах. С такой коррумпированностью сознания невозможно бороться ни образованием, ни расширением деловых и человеческих связей с развитыми странами.

Что же касается верховной власти, то ей коррупционная система не мешает — она ей выгодна. Государство вынуждает общество быть соучастником преступления (каждый либо участвует активно, либо участвует время от времени, либо поощряет преступление своей пассивностью).

Более того, коррупция становится важнейшим инструментом управления политической системой. Поскольку допускаемые масштабы коррупции делают ее практически тотальной, то с помощью исключений, ограничений, «закрывания и открывания» глаз можно держать в состоянии неопределенности и страха практически всю элиту страны, выборочно включая те или иные репрессивные механизмы

в отношении тех или иных персон либо групп<sup>21</sup>. По сути, современная российская политическая система тождественна коррупции, а ее антикоррупционные кампании есть не что иное, как «борьба» системы с самой собой с вполне предсказуемым результатом.

И все же в заключение этой главки я хотел бы еще раз отметить уже высказанный мной выше тезис, который, возможно, многим покажется небесспорным. А именно: масштабы и формы, которые коррупция приобрела в сегодняшней российской государственной и политической жизни, не являются обязательным и естественным следствием ее авторитарного устройства. Я уже говорил в начале книги, что автократии не тождественны стагнации и упадку — и в теории, и на практике (хотя это бывает нечасто) возможны авторитарные режимы модернизационного типа, которые при всей своей исторической ограниченности и стратегической бесперспективности на определенном этапе, особенно на этапе догоняющего развития, могут успешно решать задачи преодоления разрывов, отделяющих страну от лидеров роста.

Но, к сожалению, становится все более очевидным, что наш сегодняшний случай — не из их числа. И неконтролируемый рост коррупции, который трудно доказать цифрами, но легко ощутить на личном опыте, если активно участвуешь в полити-

21 Кстати, этот принцип использовался и в сталинской системе планирования, когда планы были заведомо невыполнимыми, но наказания за неисполнение нереальных планов были выборочны в зависимости от политических предпочтений и кампаний.

ческой и экономической жизни страны или хотя бы пристально за ней наблюдаешь, есть лучшее доказательство того, что «наш» авторитаризм — это все-таки авторитаризм застойного, периферийного демодернизационного типа, закрепляющий за Россией малопочетное и, главное, малоперспективное место в мировом экономическом и политическом порядке.

## Социальная база

Другая важная черта, характерная для автократии периферийного типа, — это характерная конфигурация ее социальной базы.

Но прежде чем попытаться проанализировать и описать ее, необходимо сделать еще одно небольшое отступление. Когда я говорю о «периферийном» авторитаризме как о его особой разновидности, я отдаю себе отчет в том, что на данном историческом этапе все страны с авторитарными режимами расположены, так или иначе, на периферии мирового капитализма. Во всех странах, причисляемых к его ядру, сегодня функционируют политические системы конкурентного типа. Рамки этой конкуренции, естественно, могут различаться в зависимости от конкретного времени и места, однако ни в одной из них нет характерной для автократий реальной монополии на власть одной небольшой группы. В этом смысле, наверное, можно сказать, что никакого другого авторитаризма, кроме «периферийного», во всяком случае сегодня, не существует.

И все-таки выделение «периферийного» авторитаризма как самостоятельного явления мне представляется плодотворным с точки зрения анализа его черт в нашей стране. Для этого есть, как минимум, два основания.

Во-первых, понятие «периферии» достаточно растяжимо, и в него попадают экономики и общества, существенно различающиеся по степени сложности и модернизированности. Не случайно авторы, использующие в своих работах термин «периферийная экономика», говорят о наличии существенных различий в хозяйстве и социальной структуре стран, относимых к этой категории, и вводят понятие «полупериферийных» стран и экономик<sup>22</sup>.

Соответственно, конкретные страны с авторитарной и весьма близкой к ней по типу системой, будучи, по большому счету, частью мировой периферии, занимают существенно различное место по отношению к «ядру» глобальной экономики. Так, с одной стороны, имеется немалое число диктаторских режимов, паразитирующих на примитивной, часто полунатуральной и монокультурной экономике в странах, отстающих от лидеров современного капитализма на одну, а то и на две исторических эпохи.

С другой стороны, многие страны, совершающие или уже совершившие исторический рывок к ядру индустриальной цивилизации и находящиеся в пограничной с ней зоне, сохраняют политические системы, в которых принципы свободной политической

<sup>22</sup> Известный социолог из Йельского университета И. Валлерстайн в соавторстве с Г. Дерлугьяном, описывая логику современного разделения труда между центральной зоной мирового капитализма и его периферией, уподобляет все страны планетам, движущимся вокруг Солнца («ядра») по орбитам, в разной степени от него удаленным. При этом некоторые страны-планеты при определенных условиях могут либо перейти на более близкую к Солнцу орбиту, либо соскользнуть на более далекую («Эксперт». №1 (784). 26 декабря 2011 г. — 15 января 2012 г.).

конкуренции если и действуют, то в весьма ограниченных масштабах. Можно, в частности, привести примеры Сингапура, Индонезии, нефтедобывающих монархий Ближнего Востока и, наконец, КНР с ее однопартийной системой и жестким контролем над политическими процессами. В этих странах политический авторитаризм (в той или иной его форме) соседствует с вполне современными формами предпринимательства в экономике, высоким уровнем образованности значительной части населения и восприимчивостью к новым, технологически продвинутым формам деловой активности.

Во-вторых, если посмотреть на генезис политических систем в самой развитой части мира, то и там путь к нынешней конкурентной системе временами лежал через автократию в том или ином ее виде. При этом соответствующий период их истории в некоторых случаях не столь уж далек от нас по времени.

Так, Япония и Южная Корея, относительно недавно (по историческим меркам) совершили рывок к своему нынешнему статусу части «западного мира». И в Корее это произошло в условиях очень жесткого прессинга политической оппозиции со стороны правящей группы, а для Японии было характерно ненасильственное, но целенаправленное оттеснение оппозиции на обочину политической жизни.

Можно также напомнить, что некоторые страны Южной Европы, являющиеся в настоящий момент полноправными членами ЕС, еще сорок—пятьдесят лет назад жили в условиях авторитарного управления. Да и многие сегодняшние лидеры западного

мира окончательно перешли к конкурентной системе парламентского правления в не столь отдаленную от нас историческую эпоху, не говоря уже о том, что историческая «окончателность» этого перехода не может, как считают некоторые авторы, считаться непреложным фактом, а является лишь гипотезой, которая при определенном ходе развития событий может оказаться неверной<sup>23</sup>.

Понятно, что характер авторитаризма в названных выше странах отличался либо отличается от того, что мы имеем возможность видеть в странах глубокой периферии — как по форме, так и, что гораздо более существенно, по некоторым своим существенным характеристикам. Так что в этом смысле выделение «периферийного авторитаризма» как отдельной категории с набором специфических характерных черт, на мой взгляд, не лишено смысла — как политического, так и, разумеется, научного.

Как уже говорилось выше, одной из характерных черт автократий «периферийного» типа является определенная конфигурация их социальной базы.

Для режимов, существовавших или существующих в обществах с относительно сложной структурой экономики, существенно продвинувшейся в направлении «центра» мирового капитализма, характерна опора на силовую бюрократию и крупный частный капитал, который выступает в роли подчиненного, но привилегированного и во многом независимого

23 См., в частности, Ф. Фукуяма. Будущее истории. Сможет ли либеральная демократия пережить упадок среднего класса. "Foreign Affairs". № 1. 2012 г.

и, самое главное, очень активного элемента системы. При этом популистская и псевдоэгалитаристская риторика, столь любимая «продвинутыми» авторитарными режимами, пропаганда социальной гармонии и солидарной ответственности всех слоев и классов за развитие страны, как правило, по факту сочетается у них с минимализмом в сфере социальной политики, крайней скромностью социальных гарантий и жестким по отношению к наемным работникам трудовым законодательством.

Что же касается автократий в странах, находящихся на дальних окраинах мирового капитализма, то они, во-первых, гораздо меньше доверяют своим «силовикам»; во-вторых, более враждебны по отношению к предпринимательскому сословию, стремясь полностью и всецело подчинить его административной бюрократии, которая, как правило, и выступает в роли главной опоры власти; и, в-третьих, склонны опираться на сравнительно широкий слой низовых социальных групп, представляя себя защитником их интересов.

Такие различия по-своему закономерны: если авторитарная власть всерьез нацелена на быстрый и качественный (то есть приближающий структуру общества к образцам развитого мира) экономический рост, то она неизбежно должна пользоваться энергией частной инициативы в наиболее сложных и продуктивных его проявлениях. Отсюда необходимость тесного сотрудничества с крупным бизнесом, защиты его интересов в отношениях с наемными работниками, а также ограничения амбиций

и appetитов административной бюрократии, способной выстроить огромные препятствия на пути свободной реализации частной инициативы. А в решении последней из названных задач единственным мощным потенциальным союзником правящей группы является силовая бюрократия, способная выступить реальным противовесом бюрократии государственно-административной.

И наоборот, пассивное отношение к идее реального модернизационного развития, готовность мириться с господством наиболее простых, даже примитивных форм отношений в экономике и общественной жизни, массовое использование откровенной, незавуалированной коррупции для управления страной и обществом — все это вынуждает верхушку «периферийных» автократий опираться на естественных носителей этих отношений — административную бюрократию и зависимые от нее слои населения, а также социальные «низы» общества.

В свете сказанного обратимся теперь к анализу этих черт на примере нынешних российских реалий.

Как и следовало ожидать, здесь мы также в последнее десятилетие являемся свидетелями постепенного, но очевидного усиления признаков «периферийности» российского варианта постсоветской политической автократии, что особенно заметно при сопоставлении периода ее становления (1990-е годы) и сегодняшнего этапа ее зрелости. В свой первый период, который многие упорно, хотя и ошибочно связывают с политическим либерализмом,

российская власть питала иллюзии относительно возможности обеспечить быстрый «догоняющий» рост страны на новой для нее капиталистической основе. Соответственно, свою социальную опору тогдашний состав правящей группы в существенной мере искал среди энергичных и ориентированных на быстрый успех представителей относительно молодого поколения, поверившего в то, что новый строй дает им уникальный шанс резко изменить свою жизнь к лучшему. Эти люди, надеявшиеся составить костяк будущего российского предпринимательского сословия, не ждали от правящей группы ни материальной поддержки, ни социальных гарантий, ни качественных общественных благ. Их не заботили ни массовое исчезновение рабочих мест в традиционных для советской экономики секторах, ни задержки заработной платы, ни нищенские пенсии, ни угроза, нависшая над предприятиями социальной сферы. Получившие возможность потреблять разнообразные блага в количествах, о которых в советское время они могли только мечтать, они были готовы простить правящей группе даже резкое ухудшение качества правопорядка и угрозы личной безопасности, не говоря уже об отсутствии качественных общественных и экономических институтов и работоспособной конкурентной политической системы, и все это — за возможность с помощью собственных усилий и счастливого случая (оказавшись в нужное время в нужном месте) повысить свой потребительский и социальный статус.

Естественно, что тогдашняя политическая элита именно в этой среде искала и, во многом, получила желанную социальную поддержку. Именно этот слой людей, считавших себя предпринимателями, новой экономической элитой, и помог правящей группе в середине 1990-х годов обеспечить легитимацию (хотя бы относительную) собственной власти через выборы 1996 г.; преодолеть шоки чрезвычайно высокой инфляции и ее укрощения через безжалостное реальное сокращение социальных расходов и общественных инвестиций, пережить дефолт и банковский кризис 1998 г., а также психологический шок фактического поражения в войне с сепаратистами на Кавказе и утраты статуса сверхдержавы в международных отношениях.

Естественно также, что альтернативой подобной социальной опоре в тот период не могли служить ни «бюджетники» и прочие социально зависимые от государства слои населения, ни новые «люмпены», в которых превратилась значительная часть работников советской промышленности и сельского хозяйства. А вот лояльность высшего слоя силовых структур можно было завоевать, дав им возможность почувствовать все преимущества единоличного распоряжения реальным силовым ресурсом без назойливого надзора со стороны партийной верхушки и спецслужб, ограничивавшего их свободу действий в советский период.

Таким образом, в тот относительно короткий период переходного, или, если можно так выразиться, незрелого авторитаризма характер социальной опоры



правлящей группы в значительной степени был смещен в сторону «модернизационной» модели, в рамках которой ведущая роль принадлежит капиталу и своего рода силовой «аристократии», а широким массам работающего населения отводится роль своего рода тягловой силы, функционирующей в спартанских (с точки зрения современного социального государства) условиях с минимумом гарантий со стороны государства. Что же касается административной бюрократии, то она, безусловно, и в тот период находилась, в целом, в привилегированном положении, но на роль господствующей, правящей силы могла претендовать только самая верхушка этого слоя, составлявшая своего рода касту избранных. Основная масса бюрократии в тот период не чувствовала себя ни сердцевиной, ни опорой, ни каким либо бенефициарием формировавшейся в то время нынешней политической системы.

Однако по мере вызревания системы менялось как самоощущение названных выше социальных слоев, так и отношение к ним правящей группы. По мере того, как к последней приходило понимание, что несмотря на растущие доходы страна не приближается к Западу как наиболее развитому ядру мирового капитализма, а, в лучшем случае, скользит по круговой орбите, наматывая круги без видимой надежды присоединиться к мировому клубу «сильных мира сего», менялось и его представление о том обществе, в котором им предстоит жить в ближайшие десятилетия. Поскольку стало очевидным, что только природные ресурсы, в первую очередь нефть и газ, а точнее, их экспорт, порождают крупнейшие

финансовые потоки, которые правящая группа в состоянии уловить, отследить и утилизировать, нужда в поддержке со стороны, условно говоря, предпринимательского сословия стала отпадать.

Поскольку природные ресурсы априори принадлежат государству, с которым правящая группа себя искренне отождествляет, то для контроля над протекающими от их использования доходами не нужно никакой доброй воли и содействия со стороны частного капитала — скорее, наоборот, именно от правительства зависит то, кто из предпринимателей и в какой степени получит возможность откусить от общего пирога или получить подряд на обслуживание этой своего рода всероссийской кормушки. Более того, предоставление «частникам» формальной роли в добыче денег из природных ресурсов, с точки зрения власти, только создает у них иллюзию, что они являются реальными собственниками ресурсов, и порождает амбиции самостоятельно контролировать соответствующие ресурсные и финансовые потоки, а значит — претендовать на важную роль в управлении государством и обществом.

Этого нельзя было допустить, а из этого логично вытекало не только фактическое, но и формальное взятие основных источников нефтегазовой ренты под контроль государства как их естественного собственника. Отсюда и строительство новых государственных гигантов в нефтедобыче («Роснефть», «Газпромнефть»), и фактическая национализация «Сибнефти» и «ЮКОСа», и официальная монополия

«Газпрома» на экспорт природного газа, и многое другое. А главное — демонстрация частным «капиталистам», что все ресурсы в стране, а значит и все основанные на них крупные активы являются по умолчанию (и «по жизни») «государевым» имуществом, которым можно пользоваться лишь временно и с разрешения верховной власти. Право собственности же на эти активы принадлежит государству (то есть правящей группе), принципиально неотчуждаемо и не может быть доверено «рыночной стихии».

Что же касается несырьевого бизнеса (в первую очередь, это, конечно, торговля и сфера услуг), то в рамках сформировавшейся в стране экономической системы прибыльность и безопасность ведения бизнеса в этих сферах тем выше, чем дальше этот бизнес отстоит от государственного учета и контроля. Поэтому искать в этом сегменте слой, который выступил бы социальной опорой для власти, а в более широкой перспективе — вообще, каких-либо институциональных сил, было бы наивно или, по меньшей мере, рискованно.

С другой стороны, возросшие возможности государства концентрировать в своих руках финансовые ресурсы, в первую очередь нефтегазовую ренту, позволили власти использовать их для формирования альтернативной социальной базы в виде «бюджетозависимых» групп населения, уровень потребления которых резко возрос в 2000-е годы благодаря постоянному росту соответствующих бюджетных расходов. В состав этого широкого слоя входят не

только собственно работники бюджетной сферы и члены их семей, но и те, чье благополучие зависит от государственных заказов, включая региональный и муниципальный уровень, а также получатели пенсий, пособий и других выплат из общественных фондов.

Собственно, именно в этих слоях власть в 2000-е годы черпала для себя электоральную и отчасти административную поддержку, и именно на них были нацелены ее пропагандистские усилия, наглядно отражавшиеся в информационной политике федеральных телеканалов. Последние в этот период совершили заметный разворот в своих акцентах и предпочтениях в политической окраске вещания: если в 1990-е годы упор делался на призыв к энергичным и амбициозным людям уходить от государственной зависимости, превращаться в не всегда безупречных с точки зрения закона, но самостоятельных субъектов капиталистических отношений, то в 2000-е все более заметной становилась тенденция апеллирования к жизненным приоритетам и особенностям мировоззрения вышеназванных «бюджетозависимых» групп.

В эту тенденцию легко укладываются и возведение в ранг ключевых понятия стабильности, и ежедневное поминание недобрым словом «лихих 1990-х годов», и сравнительно частые повышения ставок «бюджетников» — чрезвычайно скромные в абсолютном выражении, но создающие впечатление, что этот вопрос (рост оплаты труда в бюджетной сфере) является для власти наиболее приоритетным,

и, наконец, почти официально культивируемая ностальгия по советским временам с его героями труда, «народной интеллигенцией» и культом скромного, но растущего достатка.

В этот период, несомненно, стал расти и социальный статус административной бюрократии — пресловутого «чиновничества». Несмотря на то, что в массовой пропаганде образ этого класса по-прежнему был преимущественно негативным, и именно на него высшим руководством взваливалась ответственность за раздражающие массу населения многочисленные бытовые и иные безобразия, реальные возможности этого слоя — как материальные, так и статусные — с очевидностью росли. Первоначально это было связано почти исключительно с тем, что для него неофициально раздвигались рамки дозволенного поведения, но к концу десятилетия и официальное вознаграждение труда чиновников, в первую очередь его высшего слоя, стало расти ускоренными темпами, и разрыв, отделяющий этот слой от основной части работающих по найму, достиг беспрецедентного для России уровня, что уже само по себе явилось свидетельством перемен роли этого класса в рамках российского авторитаризма. Не случайно практически все опросы профессиональных и карьерных предпочтений молодежи начиная со второй половины 2000-х годов выявляли резкий рост популярности государственной службы на фоне снижения интереса к возможностям предпринимательской карьеры.

Более того, в 2000-е годы получила развитие и закрепились такая черта российской политической системы, которая существенно повышает демодернизационный потенциал авторитаризма, делает его более жестким и необратимым, — тотальный корпоратизм. Именно это представляет собой евразийская «вертикаль власти», идейно унаследованная от сталинской модели, когда верховный начальник воспринимается как «директор всего государства», «всеобщий директор всего», все у него «на работе» и «на службе», а все вплоть до вашего дома и рабочего места — это «цеха», «отделы» и «подотделы». В таких особых даже для авторитарных режимов условиях фактор общества вообще нивелируется. Парадоксальные с виду реакции массового сознания, которые очень часто отмечают социологические службы (и которые подчас проявляются в обыденных ситуациях), означают, прежде всего, превращение сознания граждан в сознание корпоративных служащих, которые боятся быть «уволены» начальником и вместе с «увольнением» потерять все остатки жизненного благополучия.

Таким образом, и в этом отношении мы являемся свидетелями закрепления в России того типа авторитарной политической системы, которая достаточно адекватно описывается термином «периферийный».

## Слабость институтов

Наконец, еще одна характеристика российского «периферийного» авторитаризма, на которую редко, но совершенно напрасно не обращают должного внимания, — это крайняя слабость его институтов.

Вопрос о силе или слабости институтов, строго говоря, не связан жестким образом с выбором модели политического устройства, в частности с выбором между авторитарной или конкурентной системами, хотя определенная корреляция между тем и другим, возможно, и существует.

В наиболее общем виде, слабость существующих в обществе институтов при любой модели снижает возможности управления общественными процессами, и это равно справедливо как для условий реальной многопартийной парламентской системы, так и в случае автократии. И наоборот, примеры успешного или относительно успешного использования и той и другой модели в интересах развития государства предполагали создание прочных институтов, обеспечивающих преемственность политики господствующего класса и ее независимость от личных пристрастий и предрассудков индивидуальных членов правящей команды.

Безусловно, авторитарные системы, в целом, тяготеют к формированию персоналистских режимов, когда во главе правящей команды стоит один безусловный лидер, олицетворяющий собой режим

и играющий важнейшую роль в процессе принятия ключевых решений. Тем не менее, этот лидер не может и реально никогда не заменяет собой сложный аппарат современного государства. Тем более он не может подменить своей деятельностью функционирование огромного количества институтов, без которых в более или менее «продвинутом» обществе невозможна ни сколько-нибудь сложная и продуктивная экономическая деятельность, ни формирование современной социальной и производственной инфраструктуры, ни даже поддержание элементарного общественного порядка. С этой точки зрения деятельность по формированию работоспособных и эффективных институтов в обществе является актуальной задачей для любой ответственной власти, в том числе и для персоналистских диктатур, если последние руководствуются, во всяком случае в качестве одной из целей, соображениями обеспечения устойчивого развития страны и общества.

Более того, только создание работоспособных институтов способно обеспечить спокойный, без катастроф и потрясений, переход власти в новые руки в момент, когда индивидуальный ресурс единоличного властителя по тем или иным причинам оказывается исчерпанным. В отсутствие таких институтов неизбежный (хотя бы уже в силу биологических процессов) конец персоналистских режимов с большой долей вероятности сопровождается возникновением вакуума власти, нецивилизованной схваткой за контроль над ее рычагами, резким ростом неопределенности и ухудшением условий ведения бизнеса. А в худшем случае — воцарением

хаоса и провалом государственности на очень длительные периоды времени.

Очевидно, что и в этом отношении автократии модернизационного типа — например, та же Южная Корея — даже в условиях сильной персонализации верховной власти создавали и развивали в целом соответствующие требованиям времени общественные, политические и экономические институты, способные обеспечить минимально необходимую преемственность политики при смене персоналий на вершине власти и поступательное усложнение и модернизацию экономики и общества. Собственно, именно это и только это создает предпосылки для смены в долгосрочной перспективе авторитарной политической модели системой конкурентного типа — со сменяемостью власти, с выборами в качестве инструмента арбитража в соревновании претендующих на власть команд и, в то же время, с коллективно установленными жесткими рамками возможных действий любой из допускаемых к этому соревнованию команд и стоящих за ними политических сил.

В то же время авторитаризм периферийного типа — авторитаризм, тяготеющий к застою и подчиненной роли по отношению к центру всемирного хозяйства — отличается тем, что чаще всего оказывается не в состоянии отстроить жизнеспособные, и уж тем более — успешно функционирующие институты. Он не просто с неизбежностью, безальтернативно скатывается к единоличному руководству и вождизму в той или иной его форме, но

и обязательно переводит управление государством в «ручной» режим, когда институциональные механизмы и рычаги, естественной функцией которых является автоматическое регулирование экономических, социальных и политических процессов, либо не работают без постоянного вмешательства «сверху», либо постоянно меняют алгоритм своих действий в соответствии с сигналами, поступающими от единственного лица, имеющего практически неограниченную свободу в принятии управленческих решений.

Более того, такой «ручной» режим управления создает своего рода управленческую «ловушку» — один раз попав в него, система уже не может вырваться из западни и требует постоянного вмешательства даже для простого обеспечения своего нормального воспроизводства, поскольку любые отклонения от стандартной ситуации не корректируются самостоятельно функционирующими институтами, а требуют для своей коррекции индивидуального решения, принимаемого, как правило, с участием главного лица всей системы. В результате зависимость системы от верности и эффективности решений, принимаемых на самом вершине властной пирамиды, растет, в то время как вероятность неверных или неудачных решений на этом уровне естественным образом повышается, хотя бы в силу неизбежного исчерпания исходных физических, психологических и интеллектуальных ресурсов.

Собственно, все это и наблюдалось в России на протяжении всего постсоветского периода. Прежде

всего, крайне плачевно складывалась ситуация с формированием законодательных органов. Если неудачу с первым постсоветским законодательным институтом — Съездом народных депутатов и Верховным Советом — еще можно было объяснить неадекватностью сформированных еще в советское время институтов новым условиям, то постоянную дискредитацию созданного уже в соответствии с конституцией 1993 г. нового законодательного органа — Федерального Собрания — невозможно связать с чем-либо иным, кроме неспособности власти — уже тогда, несомненно, авторитарной по своему характеру и устройству — найти формулу взаимодействия с институтом, который не укладывался в формировавшуюся схему устройства власти.

В дальнейшем — я имею в виду 2000-е годы — эта проблема была решена самым простым, как тогда казалось, способом: путем подавления всяческой фронды, а заодно и возможности влиять на принимаемые законы через жесткое — без обсуждений и компромиссов — проведение через Думу всех решений реальной власти, сосредоточенной в Кремле. Для этой цели было сформировано монолитное провластное большинство, которое управлялось исключительно извне на основе жесткой дисциплины и беспрекословного исполнения принятых за пределами Думы решений.

Однако такое простое и вроде бы эффективное решение проблемы лишнего для автократии института парламента имело и свою цену — оно практиче-

ски лишало его реального влияния на политические решения и, соответственно, авторитета и легитимности как в среде политического класса, так и среди населения в целом. Хотя в краткосрочном плане это может показаться удобным, так как усиливает столь важный для любой авторитарной власти элемент безальтернативности, в долгосрочной перспективе, вне всякого сомнения, это повышает уязвимость и хрупкость не только политической системы, но и государственности как таковой. Любые сложности, любые кризисы оборачиваются риском не только потери контроля над ситуацией, но и отсутствия легитимных структур, способных в этом случае компенсировать провал государственности из-за ошибочных действий или бездействия властей<sup>24</sup>.

Особенно опасной подобная ситуация является для России, где отсутствие дееспособного и легитимного представительного института (при понимании того, что именно неспособность нынешнего российского парламента реально влиять на жизнь страны лишает его легитимности в глазах и общественных групп, и государственных структур) дополняется отсутствием каких-либо иных альтернативных высших институтов власти, способных «подхватить» ее в случае провала ныне действующих структур. В сегодняшней России, как известно, нет ни наследственного монарха, ни освященного

24 На постсоветском пространстве мы уже неоднократно сталкивались с ситуацией, когда в условиях острого кризиса управляемости и потери контроля за ситуацией со стороны административной вертикали именно дееспособный парламент оказывался тем последним средством, которое удерживало ситуацию от скатывания к состоянию реального хаоса и безвластия.

традицией реального религиозного авторитета, ни, как в некоторых странах, армии как самостоятельного политического института. Соответственно, риск серьезного провала государственности с непредсказуемыми последствиями для страны становится не просто существенным, а высоким.

Но дело, конечно, не только в слабости представительного органа в лице Федерального Собрания. «Периферийность» российского авторитаризма проявляется, в частности, в том, что и все другие необходимые для современного государства институты демонстрируют крайнюю слабость и неспособность полноценно выполнять свои функции. О судебной системе и ее проблемах в 2000-е годы было сказано очень много и подробно, предпринимались попытки ее реформирования, однако существенного улучшения эффективности ее функционирования так и не произошло. Лучшее тому подтверждение — сохраняющееся массовое использование иностранных, в том числе офшорных юрисдикций для регистрации юридических собственников российских активов, включая государственные структуры и активы. Помимо политических рисков, которые если и не называются, то определенно держатся в уме, в качестве главного мотива такого поведения называется «удобство» бюрократического и судебного сопровождения любых действий, связанных с активами, в случае выведения их из-под юрисдикции российской судебной системы. Последнюю, по почти всеобщему признанию, крайне трудно использовать в качестве инструмента защиты прав собственника.

Столь же проблематично рассчитывать в современной России на функцию судебной системы как защиты от неправомерного преследования со стороны следственных и иных государственных органов. Во всяком случае, слишком многочисленны свидетельства того, что вирус правового нигилизма, вообще характерный для авторитарных систем периферийного типа, поразил и судебные органы — судьи при вынесении решений имеют возможность фактически игнорировать существующие правовые нормы без риска навлечь на себя негативные последствия.

Относительная слабость характерна, впрочем, и для других важных институтов — как правоохранительных, так и сугубо гражданских. И главное здесь даже не в таких традиционных для бюрократии проблемах, как несоответствие между объемом возложенных задач и имеющимися в распоряжении ведомств средствами и силами, пересечение функций и зон ответственности, наличие конфликтов интересов и т.п., а в проблеме более фундаментального характера.

Если отбросить внешний антураж и всякого рода словесную шелуху, институты — это, в конечном счете, правила, которые, во-первых, выполняются, а во-вторых, опираются на традицию или хотя бы понимание ее необходимости, и не меняются в угоду конкретному моменту по прихоти начальствующего субъекта.

Так вот, периферийный авторитаризм как раз и отличается тем, что отрицает долгосрочные устойчивые правила, которые и составляют основу и суть

общественных институтов в развитом обществе. В рамках этой системы институты — не более чем бюрократические учреждения, создаваемые для решения конкретной задачи, рамки которой определяются «наверху», и не играющие самостоятельной роли в определении направления дальнейшей эволюции системы.

Соответственно, принципы и соображения, которыми эти учреждения руководствуются при решении возложенных на них задач, могут легко и часто меняться, отражая потребности текущего момента или даже субъективные взгляды тех, кто на том или ином этапе оказывает наибольшее влияние на позицию «первого лица» в персоналистской автократии. В результате, правила в этой системе являются подвижными, неустойчивыми и неспособными выполнять функцию силы, связующей общество в единое и устойчивое целое.

Собственно, именно это мы и наблюдаем в России начала нынешнего столетия. Надежды на то, что с экономической стабильностью в страну придут стабильные правила жизни, которые будут воплощаться в крепких институтах, так и не реализовались. Сегодня, спустя пятнадцать лет после рубежа веков, мы по-прежнему имеем дело с подвижной правовой системой, избирательной и во многом неработающей системой правоприменения, постоянным изменением правил в системе налогообложения, пенсионной системе, институтах социальной, демографической, образовательной, миграционной политики и т.д. Именно по этой

причине в процесс стабилизации общественных отношений, по существу, не включились ни школа, ни система низового самоуправления, ни территориальные и культурные общины, ни политические партии, ни укорененные в обществе СМИ (о последних — разговор особый, но здесь важно то, что основная, мейнстримная их часть не смогла взять на себя роль стабилизирующего и консолидирующего института, который бы формировал границы общественного консенсуса и гасил всплески маргинальных настроений, выходящих за его границы).

Наконец, нельзя не отметить, что именно этот факт стал главным тормозом и ограничивающим фактором формирования сложных институтов в финансово-экономической сфере, являющихся атрибутом развитых хозяйств. В частности, начавшийся в 1990-е годы процесс создания институциональной инфраструктуры современного финансового сектора в последнее десятилетие фактически уперся в отсутствие адекватного качества всех остальных перечисленных выше институтов, прежде всего судебной системы, а также сопровождающей развитие финансового сектора системы отношений между бизнесом и властью в области законодательства и правоприменения.

Таким образом, и здесь мы видим в российском авторитаризме явные черты, свидетельствующие о его периферийном характере; о том, что его «застойность», его социальная и экономическая неэффективность с точки зрения решения задач развития



страны и общества связаны не с авторитаризмом как таковым, а с его специфическим положением в мировой системе капитализма, обуславливающим возможность его существования в качестве второрядного и зависимого звена этой системы и, соответственно, низкий уровень требований, объективно предъявляемых к нему логикой эволюции нынешнего мирового хозяйства. То есть, в этой конфигурации слабость существующих институтов выступает одновременно и следствием периферийной роли российского капитализма, и причиной (во всяком случае, одной из причин) того, что все разговоры властей о его модернизации и апгрейде до уровня мировых лидеров так и не выходят за пределы «домашних обсуждений», разрозненных общих пожеланий, совершенно ожидаемо остающихся без практических последствий.

### 3. Будущее автократии в России: с чем нам жить и как долго



В предыдущей главе мы попытались проанализировать сложившуюся сегодня в России политическую систему, выделив ее сущностные черты как системы периферийного капитализма, которые и позволяют нам кратко охарактеризовать ее как «периферийный авторитаризм».

Я напомним: это означает, что в России сложилась авторитарная система власти персоналистского типа со всеми присущими ей сущностными чертами и признаками — с монопольным контролем над всеми властными структурами одной-единственной правящей группы или «команды» с единоличным лидером во главе; с отсутствием работоспособных механизмов недобровольной смены правящей команды; с идеологией единой и неделимой власти как универсального принципа государственного устройства; с пониманием закона как вспомогательного инструмента управления обществом со стороны власти, но не ограничения и контроля действий самой этой власти и т.д.

Экономической основой такой власти, как было сказано в предыдущей главе, является возможность распределения административной ренты, проистекающей из монопольного контроля над основными производительными ресурсами. Это предоставляет правящей группе и ее лидеру возможность по собственному усмотрению управлять политической жизнью общества посредством контроля над большей частью денежных потоков и информационно-пропагандистских ресурсов, даже формально сохраняя возможность обратного воздействия общества

на власть и механизмы политической конкуренции (в частности, многопартийность и периодическое проведение выборов в центральные и местные органы власти).

Соответственно, сила власти и пределы ее возможностей в системе политических отношений определяются главным образом размером административной ренты, которую она оказывается в состоянии извлекать и распределять. Чем больше величина этой ренты, тем больше возможностей у правящей группы сохранять контроль над процессами в обществе без использования аппарата прямого физического насилия.

Наконец, важную роль играет также возможность системы нейтрализовывать внешние воздействия, способные привести к ее дестабилизации. Правящая группа должна обладать необходимыми ресурсами и инструментами, дающими ей преимущества в воздействии на ключевые сегменты общества по сравнению с внешними силами, способными влиять на эти же сегменты в нежелательном для системы направлении.

Все вышеперечисленное — общие, родовые признаки авторитарной власти как таковой, которые в нынешней России, напомним, дополняются сущностными чертами и элементами, проистекающими из периферийного характера российского капитализма, то есть малоразвитости и односторонности его экономики; отсутствия укорененной в обществе и его истории экономической и политической элиты; крайней слабости общественных институтов,

а именно: партий как объединений отдельных групп внутри элиты с опорой на различные слои общества, представительских органов как площадки для взаимодействия и поиска взаимоприемлемых решений; исполнительных структур с ясно выраженными задачами и ответственностью, права как регулятора отношений внутри общества и др.

Наконец, это проявление зависимости российского капитализма от центров мирового капитализма, которая объясняет, с одной стороны, несамостоятельность и, в значительной степени, экстратерриториальность деловой элиты, а с другой — антизападные настроения, порожденные ощущением ею своей провинциальности, зависимости и уязвимости.

Все эти черты, взятые в совокупности, и объясняют такие характерные черты российского авторитаризма, как отсутствие у власти ощущения общественной миссии, опора на коррупцию как метод и инструмент управления, а также на общественный цинизм («по-другому все равно не бывает») и на ксенофобию как основу политической стабильности; стремление закрыться от любых внешних воздействий; наконец, культ особых «традиционных ценностей» как оправдание глубоких социальных разрывов и низких (по меркам мировых метрополий) стандартов личного и общественного потребления у основной массы населения.

При этом, как я пытался показать в предыдущей главе, ничто из вышперечисленного не является сугубо периферийным явлением (более того, и коррупция, и целенаправленное формирование

общественного мнения в мировых метрополиях присутствуют в гораздо более сложных и потому более масштабных формах, чем на периферии), в экономиках и обществах периферийного типа они используются не столько для перераспределения плодов развития, сколько в качестве универсального инструмента управления. Более того, опора на эти инструменты во многом делает невозможным само это развитие, так как блокирует использование более сложных и более эффективных форм управления.

Как мы убедились, процесс формирования в России именно такой политической системы, как нынешняя, происходил постепенно, поэтапно, но достаточно последовательно и неуклонно, с той или иной степенью объективной обусловленности, что и привело в итоге к формированию полноценной автократии с ярко выраженными периферийно-застойными чертами. События 2014 года, когда все вышеперечисленные черты приобрели открытую и законченную форму, на мой взгляд, являются лучшей тому иллюстрацией.

Однако простой констатации факта формирования в постсоветской России такого рода политической системы, видимо, недостаточно. Если мы претендуем на то, что понимаем логику формирования и функционирования системы, то необходимо в той или иной степени представить возможности эволюции и сценарии ее дальнейшего развития. При полном понимании того, что вариантов будущего бесконечное множество, а элемент неопределенности будущего сценария всегда остается и будет

оставаться достаточно большим, мы все же можем обрисовать некоторые закономерности, присущие социально-экономическим системам, — закономерности, известные нам из мирового опыта и объясняющиеся логической связью общественных явлений и событий. Именно это я и попытаюсь сделать дальше.

## Будущее системы: предсказуемо ли оно?

Итак, первый вопрос, на который я хотел бы попытаться ответить, — это вопрос о том, есть ли вообще какая-либо предопределенность в эволюции политических систем, есть ли некие лекала, по которым история прописывает их путь.

Мне уже приходилось писать, что конец прошлого и начало нынешнего столетия заставили многих пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Еще двадцать лет назад мейнстримные мыслители и эксперты на Западе были склонны полагать, что все общества рано или поздно (а точнее, уже в ближайшие десятилетия) придут к принятию основных принципов политического устройства общества, чаще всего обозначаемых термином «либеральная демократия», которые включают в себя разделение ветвей власти и отсутствие легальной возможности ее монопольной узурпации, конкуренцию политических партий за право формирования исполнительной власти, выборы представительных органов на основе всеобщего и равного избирательного права, верховенство закона и уважение прав меньшинств, а также ряд других, менее базовых принципов. По своей сути эти принципы присущи (или, во всяком случае, должны быть присущи) конкурентной модели политического устройства государства.

Эти принципы не только признавались универсальными базовыми ценностями, но и считались

(в духе фукуямовского «конца истории») неизбежным результатом поступательного развития любого реально существующего национального общества вне зависимости от исторических и культурных различий. С этой точки зрения любые авторитарические режимы в конце двадцатого столетия рассматривались как политический анахронизм, как пережиток, который в исторически короткие сроки будет устранен самым ходом истории.

Строго говоря, и сейчас эта точка зрения является в западной экспертно-академической среде, как минимум, преобладающей, хотя уже далеко не в той степени, в которой она была таковой пятнадцать—двадцать лет назад. Под влиянием ряда факторов модель «универсального будущего» стала сдавать позиции и частично модифицироваться. Причем ревизия этого взгляда идет по меньшей мере в двух направлениях.

С одной стороны, резко возросла популярность теории «множественности цивилизаций» в рамках человеческого сообщества, рассматривающей многие противоречия в международных (и не только международных, но и межэтнических и межконфессиональных) отношениях как непримиримый и неразрешимый «конфликт цивилизаций».

Строго говоря, в средние века эта теория, наоборот эпохе, в простых и очень неприятных формах была распространенной почти повсюду, и в большинстве стран, с теми или иными оговорками, имела статус части государственной идеологии — в той мере, в какой в те времена можно было говорить

о таковой. Вторая половина XX века с верой в возможности гуманизма, в значение прогресса и универсальные «демократические ценности», а также распространение в последние десятилетия представлений о политкорректности, казалось, окончательно перевели теорию «конфликтов цивилизаций» в разряд маргинальных и исчезающих, тогда как ценности, которые принято называть европейскими, получили статус «общечеловеческих».

Однако уже в конце прошлого века теория множественности цивилизаций, вопреки ожиданиям, стала обретать, в том числе и в западном мире, новых сторонников и, если можно так выразиться, легитимизироваться в научном сообществе<sup>25</sup>. Более того, основные положения этой теории в значительной степени стали определять практические действия политиков в таких областях, как внешняя и оборонная политика, и даже, хотя бы отчасти, в гуманитарной сфере. Например, широко представленная в современных международных отношениях практика двойных (тройных и т.д.) стандартов, по сути, есть не что иное, как отражение в практической политике той же концепции «разных цивилизаций»: то, что признается допустимым и нравственным в действиях «своей» цивилизации, кажется недопустимым и безнравственным, когда речь идет о действиях других. И наоборот, то, что в своей системе считается совершенно недопустимым на уровне «абсолютного гражданского зла», признается не только

25 Примером такой легитимации является оживленная академическая дискуссия вокруг трудов и концепций Сэмюэла Хантингтона.

допустимым, но и удобным, и полезным, если речь идет о системах, устроенных несколько иначе.

Кроме того, эта концепция представляет собой удобный инструмент консолидации власти господствующих групп, поскольку мобилизация массовой поддержки облегчается идентификацией общего врага в лице той или иной альтернативной «цивилизации».

Одновременно, с другой стороны, ревизия представлений об универсальном «естественном» миропорядке, характерных для мейнстрима конца двадцатого века, шла и с другого конца. А именно: стала нарастать популярность взгляда на международные отношения как на не более чем геополитическую игру, в которой сильные игроки борются друг с другом за расширение своих сфер влияния, а более слабые пытаются использовать эту борьбу и сопутствующие ей противоречия с максимальной выгодой для себя.

То есть, даже ликвидация или существенное ослабление глобальных идеологических противостояний (например, фактическое исчезновение с международной арены так называемого «мирового коммунизма» как глобальной идеологии, альтернативной «либеральной демократии») с этой точки зрения не меняет логики мировой политики как борьбы различных государств за влияние, власть и ресурсы.

Другими словами, представители этого направления отрицают первичность идеологии в между-

народных отношениях, считая ее лишь одним из факторов, определяющих конфигурацию противостоящих друг другу глобальных игроков. Соответственно, в рамках этой логики снижение идеологических различий неизбежно будет компенсировано усилением роли других факторов, оправдывающих необходимость глобальной игры за контроль над ресурсами (в широком смысле этого слова, включая властно-политические), в то время как суть мировой политики как такого рода игры остается неизменной с незапамятных времен и до наших дней.

В качестве чуть ли не главного представителя этого направления часто называют Збигнева Бжезинского с его «Великой шахматной доской». На самом деле эта логика действительно присутствует даже не столько в современных работах на геополитические темы, сколько в расхожей политической публицистике практикующих политиков, которая предназначена формировать мнения и решения, но ничего нового или оригинального в ней нет и никогда не было. И часто по сути это не более чем перенос на современность извечного представления о международных отношениях как о борьбе государей и государств за экспансию собственной власти и попытка остановить «временное засилье» политкорректных представлений о практической возможности достижения в будущем минимально гармоничного и устойчивого всеобщего миропорядка.

Так или иначе, еще недавно казавшаяся скорой и неизбежной всеобщая конвергенция существующих в мире различных политических систем на базе

универсальных либерально-демократических ценностей сегодня уже многим представляется утопией. Коллапс или преобразование авторитарных политических систем в системы конкурентного типа хотя и остается наиболее вероятной перспективой, в среднесрочном плане не выглядит уже столь неизбежно очевидным. Во всяком случае, траектория эволюции существующих автократий, равно как и ее длина, сегодня выглядят сложнее, нежели это еще недавно представлялось общественному сознанию в развитых странах.

Расчеты на скорый и неизбежный крах всех диктатур и «тираний» под воздействием распространения просвещения и политической активности широких масс все чаще признаются ошибочными и несбыточными, а процесс покорения мира идеями либеральной демократии как способа политического устройства — длительным и — на отдельных участках — обратимым. И хотя представление о конкурентной («демократической») политической системе с широкими гарантиями прав личности и различных меньшинств как о решающем этапе процесса глобальной политической истории все еще преобладает в общественном сознании, оно сегодня, как минимум, допускает возможность длительного существования и внутренней эволюции альтернативных политических систем — автократий различных типов, включая теократии и полупфеодальные системы власти на основе вассалитета и прямого вооруженного насилия (власть «полевых командиров»); тоталитарных режимов на основе теорий национального или идеологического пре-

восходства, а также всякого рода смешанных и переходных систем. Причем горизонт исторического существования этих систем уже не предполагается равным нескольким годам или, в худшем случае, одному—полтора десятилетиям, а дает им возможность существовать и претерпевать изменения на протяжении исторически длительных периодов времени, в течение которых состояние этих систем может характеризоваться высокой степенью стабильности.

С моей точки зрения, этот относительно новый взгляд на возможную судьбу существующих автократий гораздо ближе к реальности, чем прежнее представление об их детерминированной внутренней исчерпанности, отсутствии возможностей приспособления к реалиям и близком историческом крахе. Более того, направление изменений внутри этих систем не является заранее заданным и может серьезно варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, приводя, в отдельных случаях и на отдельных интервалах, к консолидации или даже усилению эффективности монополярной власти правящей группы.

Конечно, по мере усложнения общества и стоящих перед ним задач преимущества конкурентной политической системы перед авторитарной становятся все более ощутимыми как с точки зрения эффективности использования ресурсов, так и с точки зрения снижения рисков крупных ошибок и, в конечном счете, возможного краха государственности как таковой.

И все же нельзя не заметить, что сегодня существует ряд факторов, увеличивающих возможность длительного существования авторитарных систем, несмотря на их неадекватность конкретным историческим условиям.

Во-первых, это устойчивое разделение мира на «центр» и «периферию», при котором к той его части, которая относится к «периферии», объективно снижаются требования эффективности управления и решения социально-экономических задач. Грубо говоря, для того чтобы снабжать развитый мир теми или иными видами сырья, вовсе не обязательно создавать в стране современное социальное государство, обеспечивающее прогресс науки и технологий, баланс между отдельными социальными, территориальными и этнокультурными группами, и уж тем более — эффективную борьбу за экономическое, технологическое или политическое лидерство в мире. Для этого вполне достаточно иметь минимально необходимую материальную инфраструктуру и ее защиту от деструктивных элементов, а эта задача оказывается по плечу даже самым архаичным авторитарным системам. Десятки стран так или иначе «вписались» в мировую экономику, хотя бы в качестве ее далекой и глухой провинции, не имея у себя современного функционального государства и даже не собираясь его создавать в обозримой исторической перспективе.

Во-вторых, это объективные изменения в экономической основе современных развитых обществ, снижающие значимость контроля над территориями

как источниками благосостояния. Еще двести лет назад снижение мощи и эффективности государства почти неизбежно влекло за собой утрату им контроля над территориями в пользу более могущественных соседей и, вследствие этого, смену если не системы, то персонального состава власти. Сегодня же слабые и неэффективные государства могут существовать длительное время, не представляя особой ценности для более сильных держав ни как территория, ни как объект для контроля. Растущая часть источников благосостояния развитого мира вообще не связана с контролем над зарубежными территориями — в своей предыдущей работе я довольно много писал о факторах исторической и интеллектуальной (инновационной) ренты<sup>26</sup>, с помощью которой развитые страны обеспечивают себе источник больших доходов, не тратя финансовых или иных ресурсов на поддержание физического контроля над зарубежными территориями. Та же часть ресурсов, которая является материальной и физически локализована на определенных территориях (минеральное сырье и природные энергоресурсы), легко обеспечивается через механизмы международной торговли и инвестиций. В этих условиях даже так называемые «несостоявшиеся государства» могут десятилетиями влачить существование, без того чтобы быть физически захваченными желающими воспользоваться их слабостью.

Наконец, в-третьих, это некая общая гуманизация развитой части мира (которую иногда называют его

26 Grigory Yavlinsky "Realeconomic. The Hidden Cause of the Great Recession" (And How to Avert the Next One). Yale University Press, 2011.



слабостью, «мягкотелостью», утратой пассионарности и т.д.), то есть такое состояние общества, при котором жизнь и относительный достаток большей части членов собственного общества (которые, к тому же, являются избирателями, чей настрой приходится учитывать и в политике) становится большей ценностью, нежели идеи глобального переустройства, приведения других частей мира в соответствие с собственными представлениями о желаемом устройстве общества и тому подобные надличностные и наднациональные задачи и цели. Это, кстати, объясняет и тот факт, что страны, считающие себя политическими лидерами западного мира, облеченными миссией «распространения демократии» по всему миру, на самом деле не готовы тратить на это сколько-нибудь существенные финансовые и иные ресурсы. Их широко рекламируемая поддержка «борьбы за свободу» даже в тех автократиях, где перспектива институциональной трансформации выглядит вполне реалистичной, как правило, ограничивается словесными эскападами и весьма скромными пожертвованиями тем, кто обозначает себя как оппозиция авторитарной власти и «друзья Запада». Использование же для этих целей дорогостоящих военных кампаний, подобных операциям США, было, как правило, ситуационным, обусловленным внутривнутриполитическими соображениями и со «стратегией продвижения демократий» имеет мало связи; тем более, как это хорошо известно, возникающие в таких условиях новые режимы редко бывают намного лучше старых.

В результате современные авторитарные режимы, если и теряют власть над обществом, то, как правило, не в результате внешнего воздействия или своей международной неконкурентоспособности, а под действием внутренних причин, главным образом в результате неспособности обеспечить управляемость экономических, политических и социальных процессов на «подведомственных» им территориях. А это, в свою очередь, может иметь место как в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, либо, что чаще, из-за ошибок или неадекватных решений правящей команды или единоличного лидера, которые при отсутствии механизмов самокоррекции системы заводят ее в тупик, когда она оказывается неспособна ответить на стоящие перед ней вызовы.

Тем не менее, определенные закономерности эволюции политических систем, видимо, все же имеются, и это должно быть применимо и к периферийно-авторитарной системе, сформировавшейся, как я пытался ранее показать, в современной постсоветской России. При всех вышеозначенных оговорках и факторах неопределенности вектор наиболее вероятных изменений в системе задан как ее внутренней логикой, так и внешней средой. Поскольку и то и другое является величиной достаточно предсказуемой, наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий можно предсказать и описать.

## Третий срок и новый курс

Задача определения и описания наиболее вероятных сценариев на будущее облегчается тем, что в последние два года обозначились тенденции, которые ранее (в предшествующие десять — пятнадцать лет) присутствовали в латентном или зачаточном состоянии.

Это тенденции, в отношении которых ранее не было ясно, насколько быстрым и интенсивным может быть их развитие и насколько далеко они могут зайти. Полной ясности в этом вопросе нет и сейчас, но, во всяком случае, эти тенденции проявились гораздо более четко, и вероятность того, что обозначившийся вектор движения сменится на противоположный, снизилась в разы.

Что я имею в виду? Главным образом, совокупность явлений и тенденций, в полный рост представших перед нашим обществом после завершения обратной рокировки так называемого «тандема» и начала третьего официального президентского срока единоличного главы правящей в России группы. Эту совокупность можно условно назвать «новым курсом», хотя, на самом деле, ничего принципиально нового в нем нет, есть лишь ускоренное и все менее ограничиваемое развитие процессов, которые уже присутствовали и в политической системе, и в общественном сознании страны «периферийного капитализма».

Если обозначить их коротко, то это, во-первых, усиление идеологической и политической конфронтации с центром мирового капитализма; демонстративный отказ играть свою игру в мировой политике по предлагаемым этим центром правилам. Во-вторых, это стремление выработать собственную официальную идеологию и реально сделать ее государственной, то есть насаждаемой и охраняемой всей мощью государственных ресурсов и возможностей. В-третьих, это тенденция к зажиму не только любой организованной альтернативы правящей группы, но к максимальному ограничению любой оппозиции, в том числе интеллектуальной, не имеющей у себя никаких реальных ресурсов, чтобы представлять собой сколько-нибудь значимую угрозу для власти.

Нетрудно заметить, что все названные тенденции тесно увязаны между собой, так что каждая из них логично сочетается с остальными и, в какой-то мере, усиливает каждую из них. В результате формируется довольно мощный тренд, заставляющий систему в целом дрейфовать в сторону тоталитарной, хотя и в не столь вызывающей форме, как наиболее известные системы подобного рода образца середины XX века.

Во всяком случае, такие черты тоталитарных систем, как закрепляемое и охраняемое государством господство одной системы взглядов в общественной сфере; изображение любых альтернативных взглядов как антигосударственных и антинародных; сознательная изоляция общества

от любых внешних влияний, трактуемых как антинациональные, враждебные и ослабляющие страну и общество («национал-предательство»); «мобилизационная» обработка общественного сознания перед лицом реальных и мифических угроз; принципиальная неоспоримость решений верховной власти, рассматриваемой в качестве высшего авторитета, — все это присутствует в той модели общественно-политического устройства, движение к которой четко обозначилось в последние несколько лет.

Рассмотрим все эти тенденции чуть более подробно.

## Внешний мир как противник

Первое, что было отмечено выше в качестве элемента «нового курса», — это линия на бескомпромиссное (по крайней мере внешне) неприятие правил мировой международной политики, устанавливаемых державами, входящими в «ядро» глобального капитализма — США и крупными европейскими державами, определяющими политику Европейского Союза.

Понятно, что этот элемент не является чем-то абсолютно новым, тем более — неожиданным. Критика правил, устанавливаемых Западом, была важной составляющей внешней и внутренней политики постсоветской России на протяжении, как минимум, последних полутора десятилетий. Достаточно вспомнить такие эпизоды недавней истории международных отношений, как кризис в бывшей Югославии и вмешательство в него ЕС и НАТО; война стран НАТО против режима Саддама Хусейна и последующая оккупация Ирака; напряженные споры вокруг развертывания американских систем ПРО, расширение НАТО путем включения в него Восточной Европы, российско-грузинский конфликт 2008 г., вылившийся в масштабные боевые действия, и многое другое. Каждое из названных событий порождало острые разногласия между Россией и ведущими западными державами, которые не только сужали поле для возможного конструктивного взаимодействия, но и активно использовались всеми сторо-

нами в процессе формирования внутреннего общественного мнения. Каждое обострение разногласий закрепляло убеждение сторон в том, что консенсуса по поводу правил действий в конфликтных ситуациях нет и быть не может, так что какие-либо дипломатические усилия по сближению или хотя бы согласованию позиций могут иметь лишь ограниченный и временный эффект.

При этом, естественно, западные державы исходили из того очевидного для них положения, что их роль как ядра мирового капитализма (и, соответственно, современного мира в целом) дает им преимущественное право и привилегию устанавливать правила международного поведения в соответствии с их собственными представлениями о справедливости и международном праве. Соответственно, чьи-либо попытки противодействовать игре по устанавливаемым таким образом правилам рассматривались ими как деструктивные, а авторы этих попыток — в лучшем случае как своего рода политические «спойлеры», а в худшем — как антагонисты, подрывающие существующий миропорядок. Россия и до последних событий уже имела в их глазах устойчивую репутацию «спойлера», а российское руководство и подконтрольное ему общественное мнение, в свою очередь, убедили себя в том, что игра по предлагаемым Западом правилам не приносит России никакой пользы, зато чревата постоянными потерями и убытками.

Однако в последние два-три года вышеописанные разногласия стали обретать острую форму. Разви-

тие событий вокруг Ливии, Сирии, а затем и острый политический кризис в Украине<sup>27</sup> убедили Кремль в том, что подчинение России правилам, устанавливаемым Западом, ведет лишь к тому, что его мнение и интересы (в том виде, в каком он, Кремль, их понимает) игнорируются. Никаких дивидендов от занятия «конструктивной» (с точки зрения Запада) позиции он не получает и не может получить, а его возможные потери никем и никак не компенсируются. Соответственно, для него имеет больший смысл не пытаться подладиться под правила в их западной интерпретации, а действовать исключительно по собственному усмотрению, по крайней мере в тех пределах, в которых у него имеются соответствующие материальные возможности, и попросту игнорировать международную (то есть западную) реакцию на его действия.

Именно такую (по сути) позицию Кремль занял в сирийском вопросе, и в еще более откровенной и даже вызывающей по отношению к Западу форме — в своей реакции на политический кризис в Украине и на попытки западных политиков найти выход из этого кризиса без приоритетного учета позиции и интересов Кремля. Последние были восприняты особенно болезненно — как проявление полного пренебрежения к тому, что политическая элита в России считала своими безоговорочно исторически обоснованными требованиями к западному сообществу<sup>28</sup>.

27 Я умышленно по политическим соображениям употребляю предлог «в» в словосочетании «в Украине».

28 Как сформулировал это В. Путин в своем «крымском» выступлении в Кремле, «Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили».

В свою очередь, Запад классифицировал для себя нынешнюю Россию как угрозу международной стабильности, которую следует устранить с помощью различных мер — политических и экономических санкций и, возможно, силового давления. Независимо от того, какие конкретно меры были выбраны в качестве средства непосредственного реагирования на действия Кремля в украинском кризисе, общественному мнению в странах Запада была предложена их однозначная трактовка как вызова привычному для Запада миропорядку — вызова, с которым невозможно и не нужно примиряться. Эта оценка является долгосрочной и, очевидно, не будет меняться, даже если будет найдена какая-то формула взаимной адаптации интересов и требований Кремля и Запада в украинском вопросе.

Конфликты Кремля с глобальным Западом, сотрясавшие их отношения в течение последних двух-трех лет, в итоге привели к закономерному результату — Россия, как считают многие, прочно и надолго откололась от «мирового сообщества» в его западной интерпретации, а правящая в ней группа решила для себя, что демонстративная изоляция или самоизоляция России от Запада в большей степени соответствует ее интересам, чем попытки адаптации к Западу и его правилам. И хотя это решение некоторые наблюдатели и в России, и на Западе приписывают одному человеку, вряд ли можно отрицать, что настроения подобного рода были широко распространены в правящей команде и в российском политическом классе в целом. Этим же объясняется, что официальное провозглашение «нового

курса» в международной политике, прежде всего на постсоветском пространстве, не только не встретило даже глухого сопротивления, но было встречено большей частью элиты с неподдельным энтузиазмом. Бывший долгое время популярным взгляд на российскую элиту как на космополитичную, прочно связанную с Западом деловыми и бытовыми интересами, оказался не соответствующим реальности. Напротив, выяснилось, что подавляющая часть административной и деловой элиты прекрасно осознает, где находится подлинный источник ее благосостояния, и не готова ставить его под угрозу ради призрачных бонусов от существовавшего до сих пор или еще более тесного взаимодействия со странами Запада.

Понятно, что публично заявляемая официальная позиция с неизбежно присущим ей элементом лукавства по-прежнему говорит о важности диалога, необходимости поиска точек соприкосновения, о желательности и взаимовыгодности сотрудничества и т.п. Тем не менее следует трезво отдавать себе отчет в том, что произошедшие в этой области изменения на данном историческом этапе носят очень глубокий характер, и о «возвращении в начало 1990-х годов», когда еще только формировался российский авторитаризм был готов внешне принять предписанную ему роль подчиненного и контролируемого элемента общей картины миропорядка, в нынешних условиях и речи быть не может. Состояние конфронтации с Западом; отрицание заготовленной для него роли становится для Кремля не просто приемлемым, но и комфортным состоянием,

в котором он получает возможность выстраивать мобилизационную модель внутривнутриполитического развития, эффективно блокируя протесты тех сил внутри страны, которые пытаются этой модели противодействовать.

Более того, педалируя в своей пропаганде инициативу Запада по наказанию России (как нарушителя правил) посредством экономических санкций, Кремль тем самым снимает с себя ответственность за грядущее ухудшение экономической ситуации в стране, для которой интенсивные связи с мировой метрополией являются необходимым условием высокого уровня потребления и, в особенности, его роста.

В этой связи стоит также заметить, что роль украинского кризиса в процессе поворота российского авторитаризма к его самоизоляции от Запада не стоит преувеличивать. На самом деле, он лишь сыграл роль спускового крючка, предоставив российской правящей элите удобный предлог для демонстративного «развода» с Западом, политические и экономические предпосылки для которого созрели ранее и лишь ждали подходящего случая, чтобы проявиться и дать толчок соответствующим действиям. Которые, кстати, случись они позже, — возможно носили бы не столь громкий, но более последовательный и более необратимый характер.

Экономические предпосылки, которые являются, на мой взгляд, более фундаментальными, состояли в том, что сырьевая модель экономики России не только теоретически, но и практически исчерпала

свой ресурс как двигателя экономики и потребления в России. Несмотря на то, что этот тезис стал чуть ли не точкой консенсуса всех политических сил России и произносился уже чуть ли не как заклинание, его смысл долгое время не осознавался российской элитой реально и в полной мере. Лишь после кризиса 2008—2009 гг. и утраты надежд на возобновление экономического «мини-чуда» в виде «тучных» лет периода 2003—2007 гг. стало очевидным, что рост с опорой на экспорт нефти и газа действительно затухает, а никаких новых толчков для развития отечественной экономики активные связи с Западом сами по себе дать не могут. Соответственно, и ценность этих связей в глазах российской политической элиты неизбежно стала падать, а возможные формальные и неформальные санкции со стороны Запада перестали служить сдерживающим фактором. Исчезновение былых бонусов от растущего сырьевого экспорта, ориентированного на главные индустриальные страны, стало фактом сознания той большей части российской элиты, которая непосредственно не завязана на сырьевой бизнес, а возможности расширения круга отраслей и сфер, способных получить новое развитие именно в результате активного взаимодействия с западными экономиками, либо изначально отсутствовали, либо так и не были реализованы. Все это и привело к тому, что начатый руководством разворот в сторону политического противостояния с Западом ценой сворачивания экономических связей с ним так и не вызвал сколько-нибудь серьезного сопротивления экономической элиты.

Политические же предпосылки, очевидно, в первую очередь были связаны со взглядами и психологией человека на вершине авторитарной вертикали. В нашем случае, В. Путин оказался в положении чужого, чужеродного элемента клуба высших мировых управляющих, которые не видели в нем не только равного, но и просто «своего». Само его наличие в той же «Большой восьмерке» виделось им как пережиток холодной войны, как следствие наличия у России непропорционально крупного арсенала ядерных боезарядов, не соответствующего гораздо более скромной роли России в мировом хозяйстве, торговле и инвестициях. Одновременно тот факт, что российский лидер упорно отказывался видеть ситуацию в таком свете и претендовал на большее, служил источником постоянного взаимного недовольства и раздражения, которые рано или поздно должны были вырваться наружу в форме жестких, бескомпромиссных действий.

Очевидно также, что и уже упомянутые расхожие представления о верхушке российской элиты как якобы космополитичной, тесно завязанной на Запад своими экономическими интересами и жизненными планами, также не соответствовали реальности. Даже те части деловой и политической элиты, которые субъективно хотели интегрироваться в «большой» западный мир, в силу иного образования, психологии, ментальности и личного опыта также ощущали себя в нем неуважаемыми и неприкаянными «чужаками»; не могли избавиться от определенных комплексов, инстинктивно порождавших

в них чувства обиды и даже собственного превосходства над якобы изнеженными и ограниченными представителями западных элит. Большинство высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей так и не смогли обзавестись в развитии мире источниками доходов и социального положения, сопоставимыми с внутренними, и не могли избавиться от ощущения, что за пределами своей страны они воспринимаются с определенным пренебрежением как своего рода глобальные «провинциалы». Все это, естественно, сказывалось на их мировоззрении, что и отразилось в том, что, когда с «самого верха» шел импульс ненависти и презрения к Западу, они не могли и не хотели этим импульсам серьезно сопротивляться.

В этом смысле совершенно естественно, что толчок к внешней изоляции (как результат действий, совершаемых Кремлем в нарушение установленных для него правил) получил в российской авторитарной системе быстрое и далеко идущее развитие, особенно в ситуации, когда такие действия сопровождалось символически важным бонусом в виде территориальных приобретений и связанного с ними всплеска государственных чувств. Соответствующие угрозы, поступающие со стороны Запада, вместо опасений вызывали в рядах элиты даже определенный энтузиазм, поскольку рассматривались как своего рода признание собственного величия, проявляющегося в привилегии действовать по собственному усмотрению, без оглядки на «международную общественность». Что же

касается возможности заморозки и конфискации зарубежных активов высокопоставленных чиновников, в первую очередь из силового блока, то она только приветствовалась как их единоличным лидером, еще ранее взявшим курс на «национализацию элиты», так и, можно сказать, российским населением в целом.

Насколько можно судить по объективным показателям и фактам, провозглашение готовности радикально свернуть политические, да и, в значительной степени, экономические отношения со странами Запада было достаточно спокойно воспринято высшим слоем государственной машины, включая и экономическую ее часть. Во всяком случае, в период, когда соответствующий поворот обозначился четко и недвусмысленно, не было ни отставок, ни сколько-нибудь демонстративных действий, которые можно было бы трактовать как попытки публично обозначить сопротивление этому курсу.

С учетом же того, что иные обозначившиеся тенденции, о которых речь пойдет ниже, закрепляют поворот к внешней изоляции и, более того, делают затруднительным включение здесь обратного хода, с достаточной степенью уверенности можно предположить, что период упадка или замораживания связей российской политической элиты с внешним миром — точнее, с наиболее развитой его частью — продлится так долго, насколько долгим будет век нового российского авторитаризма в его нынешнем воплощении.

Многое, впрочем, будет зависеть от того, как будет развиваться украинский кризис. Действительно, внимательный и непредвзятый анализ происходящего в Украине показывает, что при всех серьезных внутриукраинских факторах возникшего кризиса одна из главных его причин находится территориально за ее пределами. Она — в том, что происходит в России, где органическим элементом созревания и укрепления авторитарной периферийной системы стали ее постоянные попытки по расширению своего «жизненного пространства», экспансия в бывшие советские республики и ультимативное желание навязать им собственные правила жизни. Учитывая исключительное значение для будущего России трагических событий, происходящих с весны—лета 2014 года на Востоке Украины, а также политических последствий, связанных с аннексией Крыма, несколько отступим от логики и формы нашего анализа и рассмотрим российско-украинскую ситуацию более подробно.

В культурно-историческом плане и Россия, и Украина, и Беларусь принадлежат европейской цивилизации, единственное реально существующее направление их дальнейшего развития — европейское. Ничего иного для них просто не существует, если только эти страны хотят сохранить в XXI веке свою государственность. Попытки двигаться в другом направлении являются отклонением от естественного исторического развития, каковым был и большевистский эксперимент строительства социализма-коммунизма. Только теперь результаты



такой попытки будут еще более разрушительными для государств-экспериментаторов.

Украинский кризис имеет особое значение, поскольку является первым масштабным открытым проявлением попытки такого отклонения и прямым следствием нарушения естественного процесса европейского исторического развития постсоветского пространства.

Ключевая роль в этом кризисе, как уже было сказано, принадлежит России. В последние пятнадцать лет своей нарастающей «евразийской» внутренней и внешней политикой она упорно пытается олицетворять то направление развития, которое принято характеризовать как «антиевропейский вектор». Отказ России как на уровне практических действий, так и на уровне высшей политической риторики двигаться по европейскому пути, в свою очередь, означает разрыв постсоветского пространства. Украинский кризис — следствие этого разрыва, когда вместо того чтобы вместе с Украиной двигаться в европейском направлении, Россия пытается тащить Украину в противоположную сторону.

В Украине же, по существу, долгое время действовал своеобразный общественный договор: люди были готовы терпеть президентство Януковича, но при условии движения страны в Европу. Для огромного числа людей по всей Украине это было главной надеждой и мечтой. Более того, накануне подписания договора об ассоциации с Евросоюзом при всей неоднозначности последствий такого шага было понятно, что выбор в пользу Европы не раскалывает, а объединяет

страну. Выбор в сознании украинцев сложился очень ясный — между европейским будущим (возможно идеализированным, сильно приукрашенным) и таким настоящим, в котором никто жить не хотел.

Однако власть разорвала этот договор. В результате люди почувствовали себя обманутыми и униженными, взбунтовались, возник Майдан как политическая сила.

В украинской политике и уличной активности есть, конечно, и такой двигатель, как региональный фактор, а именно запад страны, прежде всего бывшие Галиция и Буковина. Эти регионы более пяти веков не входили в состав России и, конечно же, их население по своей культуре и менталитету отличается от восточной и центральной Украины. Люди, приехавшие из этих регионов «на Майдан», были более упрямы и радикальны, чем, скажем, киевляне. Но главные причины радикализации ситуации заключались все же не в этом.

Если энергичное, способное к движению вперед и требующее серьезных институциональных перемен общество сдавить жестким корсетом, чтобы предотвратить его развитие, процесс рождения нового произойдет все равно, но плод будет уродливым. Таким было правление Николая II: власть, отделенная от общества и отказывавшаяся меняться, привела к ситуации, когда из желания российской элиты осуществить современную для того времени трансформацию самодержавия в конституционную монархию, тем самым создав условия для

дальнейшего развития страны, родился большевистский монстр.

Сейчас, почти сто лет спустя, гораздо более корыстная, мелочная и мстительная, но при этом менее воспитанная и образованная властвующая группа, воспринимающая развитие общества как опасность для себя, иррационально и абсурдно пытается делать вид, что этого развития нет. Она вновь надевает на общество жесткий корсет из ограничений, запретов, извращений и беззакония, тем самым программируя рождение очередного социально-политического уродства — засилья в политике откровенных невежд, популистов и радикалов.

Российский периферийный авторитаризм воспринял произошедшее в Украине как покушение на смысл существующей в России системы. Однако напрямую защищать эту «евразийскую» систему он не решился, а объявил себя борцом за российские интересы, используя заведомо выигрышное с точки зрения роста популярности незаконное присоединение Крыма и защиту русскоязычных от украинских националистов («бандеровцев»). Однако суть предпринятых действий системы связана не столько с Крымом (это лишь дополнительный приз), сколько с сохранением своей власти в России и с защитой от покушения на российскую периферийную авторитарную систему (причем это уже второе покушение — первое было в 2004 году в связи с разоблачением фальсификаций на президентских выборах). Так же как в 1956 году в Будапеште или в 1968 году в Чехословакии, дело было

не в территориях, а именно в покушении на систему авторитарной власти.

Именно по этой причине Россия категорически выступала против ассоциации Украины с ЕС в любой форме. Более того, российская властвующая элита поставила перед собой задачу подталкивания процесса разрушения украинской государственности и доказательства всему миру, что Украина в нынешних границах является несостоявшимся государством.

В конечном счете, она добивается передела (раздела) территории Украины и, в том или ином виде, отторжения от нее Крыма, Востока и Юга в пользу России — не обязательно в виде присоединения, но через создание в той или иной форме «буферной» зоны, отделяющей Россию от Запада. Западная и часть центральной Украины, возможно, смогут существовать как независимое государство, и Россия даже согласится с их вступлением в ЕС, а возможно и в НАТО (это будет зависеть от того, как пройдет «операция» и какая будет территориальная конфигурация).

В любом случае, операция «Украина-2014» имеет своей целью закрепление «неевропейского», «евразийского» характера российского государства, по-своему трактующего права человека и международное право, выступающего в роли антагониста Запада и, в конечном счете, сохраняющего все основные элементы «суверенной» криминально-олигархической системы власти, созданной после 1991 года.

В случае успеха этой операции вполне возможно и даже вероятно расширение ее зоны и на другие бывшие советские территории. Однако как бы ни развивались события в дальнейшем, Россия уже сейчас в результате своего сползания к антиевропейскому курсу создала новый болезненный контекст для всех своих соседей, порождая у них острое желание как можно дальше от нее отодвинуться. Настойчивое проталкивание альтернативных (на самом деле несуществующих) «евразийских» ценностей оборачивается демонстративным игнорированием гражданских и политических прав, отказом от принципов равенства перед законом, разделения властей и правового государства, культивированием олигархической системы собственности, отсутствием конкуренции.

Своим отказом от европейского вектора движения Россия создает значительный пояс нестабильности, поскольку практически во всех соседних с ней странах есть серьезные проевропейские силы, противодействующие российским планам их «держат и не пущать». В ближайшей перспективе Россия располагает серьезными возможностями генерировать нестабильность в Украине, используя для этого как экономические рычаги (зависимость от российских рынков и энергоносителей), так и разогревание сепаратизма с использованием денежных вливаний и медиа-пропаганды. Поэтому и для Украины, и для всего постсоветского пространства одним из ключевых вопросов является судьба европейского будущего России.

Идеалом или перспективой, равновеликой России, способной не отпугнуть, а увлечь людей, может быть только общая, общеевропейская. Такой реалистической перспективой, безусловно, является концепция «Большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока. И это не просто красивые слова, фигура речи. Это весомая, действенная и единственно практичная альтернатива, во-первых, тупику стабильного гниения, в который сегодня загоняют российское общество, а во-вторых, ново-старому мифу о национализме как единственно возможной движущей силе либеральной революции.

Для Европы (и для России с Украиной как ее неотъемлемых составляющих) такая самоидентификация и ее последовательное экономическое, политическое и военно-стратегическое воплощение — единственный способ выживания и обретения нового, значительно более высокого качества в глобальной политике и экономической конкуренции с Северной Америкой и Юго-Восточной Азией в XXI веке.

Отдельно ни Европа, ни уж тем более «евразийская» Россия, отрицающая Запад и считающая его источником опасности, никогда этого не смогут.

Европа вообще может быть сильной и перспективной, только если европейский образ жизни будет постоянно расширяться, преодолевая сегодняшние границы. Как только она останавливается, полагая, что политическая Европа ограничена после присоединения стран Балтии бывшей советской границей, то такая лишенная энергии движения и важного

содержания Европа будет все больше бюрократизироваться, застывать, разлагаться.

К тому же, Россия и Украина со своим культурно-историческим опытом, сохранившимися, вопреки всему, традициями и творческим потенциалом могли бы позитивно повлиять на решение многих европейских проблем.

## Новая идеология: мифический «полюс силы» как высшая ценность

В предыдущей главе было сказано, что авторитарная власть в ее классическом виде не склонна придавать большое значение выработке единой общей идеологии, ограничивая себя контролем над властными — финансовыми и административными — рычагами, но не над умами и помыслами подконтрольного ей населения. Последним уделяется не так много внимания, а там, где оно присутствует, оно, как правило, ограничивается провозглашением в качестве идеологии набора общих мест в духе борьбы за все хорошее против всего плохого. Это положение, безусловно, верно в ситуации, когда автократия находится в периоде своего становления или расцвета и чувствует себя достаточно уверенно, чтобы не искать себе дополнительные опоры в виде всеобщей и обязательной идеологии. Тем более что использование последней для управления обществом несет в себе не только потенциальную выгоду, но и определенные сложности и риски: глубинные чувства и инстинкты, к которым часто апеллируют идеологии, легко возбудить, но крайне трудно поставить под контроль и ограничить, когда интересы власти этого требуют.

Однако там же, в главке «Поиски идеологии», уже было отмечено, что для современного российского авторитаризма период расцвета и уверенности в своих силах продлился не так долго. Приблизительно

к концу десятилетия 2000-х гг. стало очевидно, что невозможно продолжать быстро и зримо увеличивать доходы населения. Одновременно проявились жесткие пределы возможностей присвоения и распределения элитой щедрой административной ренты, которая в это время фактически перестала расти.

Тогда же, как было сказано, активизировались поиски дополнительной опоры в идеологической сфере, которая в итоге была найдена в консервативно-охранительной идеологии (сакральность власти, «народность» как неотделимость народа от власти и власти от народа, упор на «традиционные ценности») с изрядной долей державности (завышенной самооценки проповедуемого симбиоза народа и власти) и ксенофобии (враждебный окружающий мир, страна в осаде недругов и их пособников и т.п.). Все эти элементы, как мы отмечали, в конце первого десятилетия 2000-х годов приобрели достаточно осязаемый характер, прочно закрепились в стиле и содержании политического контента государственных и окологосударственных СМИ, а также в официальных речах и выступлениях представителей властной верхушки и провластных деятелей культуры.

Наконец, там же было замечено, что идеологизация российской власти, ее попытка найти себе дополнительную опору через более агрессивную обработку общественного сознания, с одной стороны, является свидетельством того, что пик прочности системы уже пройден, и у нее пропадает или уже пропала бы-

лая уверенность в достаточности относительно комфортной и безопасной стратегии неидеологического контроля за ситуацией. С другой стороны, как было сказано, подобные действия власти являются крайне рискованными, поскольку будят и поднимают в обществе силы с большим деструктивным потенциалом, контролировать которые крайне непросто.

В таких условиях естественным и весьма соблазнительным способом решения этой дилеммы становится превращение государства в идеологическое, в котором защита, пропаганда и насаждение удобной для власти идеологии становится государственным делом, а все остальные взгляды, помимо официальных, выводятся за пределы допустимого и эффективно подавляются. Другими словами, власть в этом случае становится на скользкий путь превращения авторитарной системы в тоталитарную со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но именно эти тенденции в последние годы в возрастающей степени проникают в российскую общественно-политическую жизнь и, более того, начинают в ней закрепляться. Все перечисленные в предыдущей главе основные черты «нового курса» (хотя все его элементы просто взяты из разных эпох российской истории от раннего самодержавия до советской власти и эклектически перемешаны<sup>29</sup>)

<sup>29</sup> Тут и ностальгически-идеализированное представление о советской системе, и жандармское самодержавие Николая I, и контрреформы, и победоносцевское «подмораживание» России в конце XIX века, и даже «уроки» активной внешней экспансии при жесточайшем ломании страны «через колено» эпох Ивана Грозного и Петра I. И все это щедро приправлено для видимости интеллекта вырванными из всякого контекста фразами различных российских философов «серебряного века» от Ивана Ильина до Николая Бердяева.

в последние годы стали полноценными составными частями официальной идеологии и заменили собой пережитки фразеологии «переходного периода» с ее ритуальными клятвами в верности принципам демократии, прав человека и свободной экономики. Курс на политическую изоляцию страны от «западного» влияния сделал последние не просто излишними, но даже вредными с точки зрения мобилизации поддержки населением нового идеологического курса. Именно поэтому все «установочные» выступления и документы последнего года, исходящие с самого верха властной вертикали, уже практически свободны от следов либеральной парадигмы и однозначно ориентированы на идеи единства и монолитности власти, ее прямой опоры на «волю народа» (без отсылок к механизмам представительной демократии), строительства отношений с внешним миром исключительно на собственных условиях и с позиции силы.

Чрезвычайно большое место в новой идеологической парадигме занимает также тезис о том, что долг власти — хранить и укреплять традиционные ценности, оберегая их от возможной «порчи» (размывания) внешними воздействиями и влияниями. При этом сами эти ценности, во-первых, тесно увязываются с русской этничностью и российской территорией, а во-вторых, рассматриваются как данность («глубинные основы»), которая не подлежит ни изменению, ни переосмыслению, ни даже адаптации к новым реалиям. То есть, по сути, власть в этой новой идеологической конструкции уже рассматривается не как продукт некоей обще-

ственной договоренности, а как непосредственное выражение народного (национального) духа, «духа территории», смысл существования которой состоит в организации противодействия изначально враждебному и чуждому внешнему миру.

Естественно, что в такую картину организации и функционирования власти не вписывается ни разделение (распределение) ее между конкурирующими субъектами, ни какая-либо форма контроля за ее (высшей власти) деятельностью. Максимум, что возможно вписать в эту конструкцию, — это определенный (пусть и малорезультативный) контроль снизу, со стороны населения, за деятельностью низовых звеньев государственного аппарата. То есть речь может идти о сотрудничестве с населением в деле контроля за мелким «служивым людом», но не выше и не более того.

Смена акцентов в области идеологии, естественно, сделала необходимыми и соответствующими изменения в редакционной политике федеральных телевизионных каналов как главном инструменте работы с общественным мнением. Из эфиров стало исчезать любое, даже критическое упоминание о наличии иных, помимо официальной, точек зрения, а в тех случаях, когда упоминание о них все же присутствует, оно неизменно сопровождается замечанием о наличии в стране «пятой колонны», работающей на зарубежные интересы. Носители иных идеологий переквалифицированы из интеллектуальных сектантов в сознательных врагов национальной государственности, которым не должно быть

никакого, даже маленького места в общественно-политической активности, а градус самой пропаганды повышен до максимально возможного, граничащего с истерией. Все институты, имеющие выход на общественное мнение — от Государственной Думы до Общественной палаты, — очищаются от «смутьянов», использующих свой статус членов этих институтов для публичного выражения антивластных суждений.

Одновременно была повышена роль правящей идеологии как теоретического обоснования политической и бытовой ксенофобии и исключительной роли государственного самосознания. Понятие «русского мира» (в противовес понятию российской гражданской нации), до того служившее преимущественно предметом интереса интеллектуалов национально-патриотической ориентации, стало не только частью официальной доктрины, но и неформальной основой внешнеполитической стратегии на постсоветском пространстве, трактуемой близкими к власти идеологами политической и территориальной экспансии России как этнонационального государства. Лозунг «собрания русских земель» и «единства русских людей», если не по форме, то по существу, стал новой государственной идеей.

Излишне говорить, что важной частью официальной идеологии стало отрицание универсальных ценностей «демократии и прав человека». Эти понятия приписываются «враждебному Западу», что позволяет, если не отрицать их полностью, то жестко ими манипулировать. Любые ограничения этих

прав, их всяческое сужение становится не нарушением принципиальных норм человеческого общежития, а естественным правом государства на защиту своей безопасности и самобытности, якобы вытекающей из национальных традиций и ценностей. По сути, это утверждение прежней концепции «суверенной демократии» в качестве части теперь уже более целостной официальной идеологической доктрины.

Другими словами, стихийно выработанная российским постсоветским авторитаризмом собственная идеология не только повысила свою значимость в жизни государства и общества, но и приобрела начальную форму идеологии евразийского государства как воплощения многовековых «русских» полиэтнических ценностей, якобы состоящих в отрицании индивидуализма и корыстолюбия, в растворении отдельного человека в имеющем трансцендентный смысл особом общественном организме — симбиозе народа и авторитарной власти. При этом последняя мыслится как существующая изначально и независимо от современного общества — как бы до и отдельно от конкретных людей.

Конечно, элементы такой идеологии существовали задолго до нынешней реинкарнации российского авторитаризма, ее корни подчас уходят на столетия назад. Будучи сформированной как нечто целое на обочине философской мысли прошлого столетия, она оказалась востребованной доморожденным периферийным авторитаризмом, поскольку в общем и целом удовлетворила его

потребности в идеологических средствах консолидации власти и ее защиты от внешних и внутренних угроз — как реальных, так и воображаемых. Более того, ощущение необходимости такой защиты оказалось настолько сильным, что пересилило и явные неудобства этой идеологии для управления обществом. А ведь проблемность такой идеологии именно для этой цели в российских условиях очевидна и состоит, во-первых, в том, что слишком большие общности, прежде всего национальные меньшинства, начинают ощущать неустранимую двусмысленность своего положения в государстве, а во-вторых — в непонятном положении «зависают» и некоторые унаследованные от предыдущего периода институты, — например, партии, создававшиеся в рамках иной парадигмы политического развития; образовательная система, в нынешней организации которой заложен непозволительный в рамках новой идеологии плюрализм, и некоторые другие.

Тем не менее, политический выбор на уровне верховной власти, похоже, уже сделан, и все последующие шаги будут направлены на консолидацию идеологии русского государственного евразийства в качестве государствообразующей идеи и адаптации к ней существующих государственных и общественных структур и институтов. Вскоре встанет вопрос — как со всякой государственной идеологией: насколько жестко и с какой конкретной политической целью такая идеология будет использоваться. В ближайшее время мы узнаем ответ.

## Политическая модель: поиск идеальной вертикали

Наконец, третьим трендом из числа перечисленных в самом начале этой главы стало движение к чрезвычайно жесткой вертикальной политической модели, ставшее особенно заметным в ходе «крымской кампании» и непосредственно после нее.

Главное содержание этого движения — стремление системы избавиться от лишних, чужеродных для нее элементов политической конкуренции и каких бы то ни было альтернативных источников власти. В предыдущей главе мы говорили о том, что нынешний российский авторитаризм вырос и консолидировался из эклектичной реальности постсоветского перехода — в результате длительного поиска, во многом стихийного и неосознанного, той политической модели, которая смогла бы выразить и защитить интересы нового правящего в стране класса, — класса постсоветской номенклатуры.

Естественно, процесс этого поиска не был простым и прямым. Наиболее наглядно сопутствующие ему зигзаги и переломы проступали в некоторые особенные периоды истории постсоветской России. Прежде всего, это были первые годы после краха советской системы, закончившиеся печально известными событиями осени 1993 г. и разработкой принципиально новой политической



конструкции — президентской (или, как формулируют некоторые эксперты, суперпрезидентской) республики. Затем это был период президентской выборной кампании 1996 г., когда тогдашняя правящая группа впервые отказалась от идеи действительно конкурентных выборов. Потом — 1999 год, когда правящая команда впервые использовала институт кулуарной передачи власти — фактическое назначение уходящим (в силу объективных причин) лидером правящей группы официального преемника российского «престола». Затем, в начале 2000-х годов, последовало пресловутое «строительство вертикали», главным содержанием которого стало ограничение любого рода политической «самодеятельности» в регионах и в политических партиях.

Восстановление, хотя бы частичное и ограниченное, губернаторских выборов и некоторое ослабление ограничений на партийную деятельность в 2012—2013 гг., казалось, обозначило некоторое отступление от генеральной линии на сворачивание политической конкуренции, но уже в начале 2014 г. политическая атмосфера в стране сгустилась до беспрецедентного уровня, когда уже сам принцип политического плюрализма был поставлен под сомнение, а грань между оппозиционной и «подрывной» политической деятельностью была затерта до состояния неразличимости.

В чем можно усмотреть особенности ситуации и тенденций в этой сфере, наглядно проявившиеся в начале 2014 г.?

Во-первых, это окончательное исчезновение различий между официально правящей и представленными в Государственной Думе оппозиционными партиями с точки зрения их политического лица. Тот факт, что в парламенте перестала звучать критика главы государства не только по поводу его действий в связи с украинским кризисом, но и вообще по любым вопросам, нельзя объяснить ни, как это пытались сделать, всеобщим «патриотическим подъемом», ни якобы неуместностью критики верховной власти в критически важный и ответственный период. Нюансы и различия в партийных подходах к важнейшим политическим вопросам не исчезают до конца даже перед лицом реальной внешней угрозы, если эти партии находятся в отношениях конкуренции и представляют различные группы внутри элиты. В условиях же, когда нет очевидных признаков явного усиления или актуализации таких угроз, когда вопрос выживания государственности в гораздо большей степени связан с характером и содержанием реакции власти на внутренние вызовы, столь трогательное единодушие власти и официальной оппозиции свидетельствует о другом. А именно: либо все эти партии являются не более чем различными функциями одной и той же правящей группы, обслуживая, в сущности, одни и те же интересы; либо, что столь же вероятно, правящая команда решила для себя, что внутриэлитные разногласия представляют для нее недопустимую угрозу, и их нужно, как минимум, загнать глубоко внутрь и не допускать их публичного проявления даже в мягкой форме парламентских дискуссий.

Так или иначе, но к настоящему моменту представительские институты федерального уровня, и в первую очередь Государственная Дума, предстают в форме части единого монолита авторитарной власти, не допускающей даже малой возможности кристаллизации альтернативных ей структур в легальном политическом поле. Исключить такую возможность при наличии многопартийности можно лишь путем ликвидации даже намека на альтернативность парламентских партий — или же путем ликвидации самой этой многопартийности. Очевидно, что правящая группа выбрала первый путь, используя для этого свои отношения с верхушкой «оппозиционных» партий и огромные возможности воздействия на эту верхушку с помощью различных бонусов или, наоборот, репрессий.

В немалой степени это связано и с охарактеризованным выше процессом активной идеологизации авторитарной власти, ее движения к идейному тоталитаризму. Само наличие официальной идеологии, обязательной к исповедованию каждым, кто не хочет быть зачисленным в предатели и враги государства, предполагает политическое единство и отсутствие структур, заявляющих себя как альтернативные.

Правда, и парламентские выборы как институт при этом окончательно лишаются практического смысла. Если в предшествующий период они рассматривались правящей командой как чрезвычайно широкий по охвату опрос общественного мнения,

легитимизирующий роль и положение абсолютно-го лидера, то при отсутствии каких-либо внятных различий между партиями (кроме имени лидера) проведение выборов лишается и этого смысла. Они либо превращаются в фарс, в заранее расписанный на роли и тщательно отрежиссированный спектакль, либо ликвидируются как институт. Какой из этих двух возможных путей будет избран властью, покажет время — скорее всего, вопрос будет решаться ситуативно. Однако в любом случае этот чужеродный для тоталитарной или полутоталитарной системы институт в нынешних российских условиях выглядит обреченным.

Во-вторых, это консолидация правящей группы с точки зрения ее экономических интересов, резкое ограничение хозяйственного лоббизма. Что здесь имеется в виду?

В течение десятилетия 2000-х гг. в рамках правящего класса можно было выделить несколько течений, ориентирующихся на различные хозяйственные уклады и области деятельности — от сырьевого сектора и инфраструктурных мегапроектов до обрабатывающих и даже технологически продвинутых экономических кластеров. Отдельно существовала группа, делавшая ставку на современный финансовый сектор («превращение Москвы в международный финансовый центр»). Существовали и течения, представлявшие различные территориальные интересы и приоритеты, — например, акцент на ускоренное развитие восточных регионов, освоение ресурсов в Арктике и т.п.

Эти течения формировали для себя определенное теоретическое обоснование, различающиеся между собой концепции экономического и социального развития. Если одни делали упор на концентрацию финансов и инвестиционной деятельности в руках государства, на «мегапроекты», разработанные под существующие или будущие гигантские госкорпорации, то другие — на облегчение налоговой нагрузки на бизнес, на поощрение преимущественно мелкого и среднего предпринимательства. Концепции создания «энергетической сверхдержавы» противостояла концепция «модернизационного роста» с опорой на высокотехнологичные «кластеры». По разному выделялась отдельным группам и течениям роль иностранного капитала.

Дискуссии и споры между носителями и оппонентами соответствующих концепций в изобилии велись в средствах массовой информации и прослеживались в кулуарных схватках экспертных групп за расположение со стороны верховной власти и дополнительные возможности влияния и финансирования. Наконец, эти течения даже получали определенное институциональное оформление в виде разного рода структур — советов, ассоциаций и т.п., способных выражать и отстаивать различающиеся между собой групповые интересы.

Это, конечно, не было политической конкуренцией в чистом виде, однако соревнование лоббистских и подобных им структур за привлечение на свою сторону большего финансово-административного ресурса, безусловно, несло в себе и элементы по-

литического соревнования. Даже действуя в условиях жестких ограничивающих рамок, они, тем не менее, придавали системе большую гибкость и снабжали ее механизмами обратной связи, позволяя ей в известных пределах модифицироваться в соответствии с вызовами времени.

Теперь же возрастание общей жесткости конструкции затронуло и эти ее элементы. Бюджетные ограничения, усиливаемые падением эффективности и ростом расходов на покрытие издержек, связанных с самоизоляцией, сузили пространство для маневра, порождающее конкуренцию экономических интересов. «Новый курс» жестко фиксирует отраслевые и территориальные приоритеты, во многом бессмысленная лоббистские усилия, а новые идеологические «скрепы» резко принижают значение и смысл интеллектуальной поддержки конкурирующих экономических интересов. К этому же ведет линия на еще большую концентрацию права принятия решений в руках одного-единственного человека, который к тому же становится все более нетерпимым к протестам и возражениям, все более категоричным в своих суждениях о людях и группах, высказывающих свое неприятие происходящего. В итоге даже такая конкуренция рассматривается как угроза и становится объектом репрессивного давления.

И, наконец, в-третьих, это отказ от горизонтальных связей элементов политической системы с внешним миром. Курс на самоизоляцию подразумевает, что любые контакты на уровне отдельных

институтов, — контакты, не выходящие непосредственно на вершину властной пирамиды, — становятся не просто лишним, но и потенциально опасным действием. Это относится не только к неправительственным или полуправительственным институтам (академическим, экспертным, культурно-просветительским, благотворительным), но и к вполне официальным структурам — региональным правительствам, территориальным ассоциациям, администрациям территориальных и иных образований с особым хозяйственным режимом и т.д.

В итоге общий объем внешних контактов начинает неизбежно сокращаться, что косвенно оказывает сдерживающее действие и на хозяйственную деятельность на территории страны иностранных субъектов или юридических лиц с иностранным участием. Политика привлечения зарубежного капитала меняется на индифферентное, а то и враждебное отношение к нему со стороны властей. Это еще не закрытие страны, но существенный шаг к таковому, который может иметь серьезные долгосрочные последствия.

Конечно, сегодня этот процесс находится еще на самой ранней стадии, но некоторые очевидные его признаки уже можно обнаружить и оценить.

В сферу повышенного внимания в этом плане будут попадать не только и не столько гражданские активисты и «неприкаянные» оппозиционеры, сколько как раз люди из рядов внешне абсолютно лояльной

бюрократии, которые имеют возможность свободно контактировать с внешним миром и обзаводиться зарубежными активами в той или иной форме. Право бюрократии на подобное непатриотичное поведение, казавшееся незыблемым еще несколько лет назад, сегодня ставится наверху под сомнение, и у элиты появляются веские основания полагать, что новая политика по отношению к космополитической части элиты, вводится всерьез и надолго.

Кампания «деофшоризации» и «национализации элит» легко может быть развернута именно в эту сторону, и уже есть признаки того, что полноценный процесс движения в данном направлении не заставит себя ждать.

## От периферийного авторитаризма к авторитаризму провинциальному

В предыдущих главах я пытался показать, что авторитаризм как политическая система является, в сущности, неизбежным или почти неизбежным следствием господства в стране капитализма периферийного типа, как бы естественно ему сопутствуя.

Это связано, я напомним, с тем, что периферийный капитализм по своей природе не создает достаточных оснований для полноценного функционирования институтов политической конкуренции, поскольку именно в силу своей периферийности опирается на небольшое число достаточно простых по своему содержанию ресурсов. Это могут быть природные ресурсы, представляющие интерес для ядра мирового капитализма, это может быть изобилие дешевой рабочей силы, а может — и экономия на материальных и транспортных издержках. Однако в любом случае возможностей для встраивания в экономику мирового капитализма относительно немного, они достаточно просты и очевидны, а потому легко поддаются контролю и монополизации той частью правящего слоя, который занимает в стране ключевые властно-административные позиции. Она, эта часть, с неизбежностью подчиняет себе существующие и возникающие экономические структуры, а это, в свою очередь, подрывает саму возможность открытой и относительно честной

конкуренции различных политических групп и сил. Альтернатива правящей группе душится экономически в результате отсутствия у нее возможности обзавестись собственной независимой и легальной материальной базой. Ибо не может быть реальной политической конкуренции в системе, где все главные экономические ресурсы находятся под контролем одной-единственной группы.

Эта закономерность действует, хотя и с известным своеобразием, во всех странах мировой периферии, даже если формально в них и провозглашаются политические свободы, многопартийность, институт выборов и все остальное, что принято считать признаками политической демократии. Российский вариант, в основных чертах подтверждающий эту закономерность, осложнен олигархической структурой и условным характером собственности, запрограммированной залоговыми аукционами и другими формами произвольного дележа собственности, практиковавшимися в нашей постсоветской истории.

Однако в любом случае периферийный капитализм с большим трудом поддается политическим преобразованиям в направлении конкурентного правового государства. В частности, в нем, как правило, нет возможности независимого финансирования политических партий, гражданских организаций, ответственных и независимых СМИ, отражающих широкий спектр квалифицированных мнений по насущным общественным проблемам. Нет возможности выстроить правовую

систему так, чтобы она не зависела от воли одной-единственной группы, занимающей ключевые позиции в административной системе и имеющей в силу этого возможность по собственному желанию и разумению регулировать ключевые потоки финансовых и материальных ресурсов.

В таком обществе определение вектора его развития через взаимодействие различных групп интересов, что, собственно, и составляет реальное содержание политической демократии, становится невозможным и заменяется безраздельным господством субъективных, чаще всего весьма небескорыстных устремлений и представлений узкой группы лиц, обладающих монополией на власть и управление крупными хозяйственными активами.

С другой стороны, формирующийся в странах мировой периферии авторитаризм по своему характеру также является периферийным по отношению к ядру современного мира. Обладая огромными возможностями контролировать свое собственное общество, в международном плане он находится «в хвосте» мировой политики и не способен влиять на ее магистральное направление движения.

В то же время, как мы уже отмечали, состояние общества и государства не определяются только экономикой и ее положением в системе мирового хозяйства. Существенными факторами являются политическая воля, состояние (или просто наличие) элиты, целостность и господствующие идеологии национального сознания. Если бы это было не так, в истории не было бы случаев, когда те или

иные страны и общества делали рывок, переходя на другую орбиту движения, существенно приближаясь к центру, к ядру мирового развития. Ни одно общество не является по определению «приговоренным» к вечному отставанию и роли дальней периферии мирового хозяйства и глобального сообщества. Точно так же и достигнутое кем бы то ни было положение в центре этого хозяйства не может гарантировать, что такое его положение будет сохраняться вечно.

Конечно, изменение своей судьбы требует сознательных и упорных усилий, и это утверждение справедливо как для отдельного человека, так и для стран и народов. Путь с периферии к центру требует не только времени и сил, но и ума, знаний, умения маневрировать, находить выход из невыгодных и даже проигрышных ситуаций, в том числе путем игры на противоречиях между конкурентами и на их слабостях. Вести страну по этому пути задача элиты общества, которая должна быть не просто образованной, но и активной, целеустремленной, способной идти на конфликт с наиболее косной и реакционной частью собственного общества и побеждать в этом конфликте. А для этого, в свою очередь, она должна обладать соответствующей идеологией — стремлением активно участвовать в международной борьбе за экономическое и технологическое лидерство, не боясь конкуренции и не рассчитывая на поблажки и привилегии, тем более на автоматическое получение желаемого высокого статуса. Элита должна понимать, что в жестком мире международной

конкуренции «в зачет» не идут ни прошлые заслуги, реальные и мнимые; ни самопровозглашаемое историческое величие; ни претензии на ведущую роль, не подкрепленные реальными возможностями и ресурсами. Более того, она не должна бояться ни признания совершенных ошибок, ни необходимости, если того требуют интересы дела, играть роль младшего партнера, не способного навязать ведущим игрокам свой взгляд и свое видение ситуации.

Если же она оказывается лишена всех вышеназванных качеств, то даже частичное преодоление отставания от «центра» становится практически невыполнимой задачей, а естественной реакцией на нее — желание уйти от борьбы, прикрывшись лозунгом самодостаточности и изначального духовного превосходства. И в этом случае периферийность, которая сама по себе не исключает нацеленность на ее постепенное преодоление, превращается в провинциализм, особенностью которого является отчетливое нежелание менять свое положение в мировой системе координат; убежденность в том, что ставшее привычным положение и соответствующий ему образ жизни являются лучшими из возможных. И тогда бедность преподносится как благо, застой — как дающая уверенность стабильность, косность и нежелание меняться — как верность традициям. А ощущение собственного величия становится изначальным даным, не требующим подтверждения ни реальными достижениями, ни победами в конкурентной борьбе.

С этой точки зрения и с учетом событий 2014 года характеристика российского авторитаризма как периферийного требует уточнения.

Прежде всего следует сказать, что несмотря на постоянно провозглашаемые «особость», суверенность и принципиальную неподчиненность всему остальному миру, российский авторитаризм остается периферийным. Остается уже потому, что отвергая для себя возможность участия в глобальном управлении, хотя бы и на вторых ролях, он тем самым лишь подтверждает свою периферийность. Ведь отказываясь выступать в роли пусть и не главного, но все-таки субъекта мировой политики, он все равно остается ее объектом: просто те вопросы, на решение которых он мог бы оказать то или иное влияние, теперь будут решаться без него и без учета его интересов.

Вместе с тем, отгораживая себя от мирового капиталистического ядра — отгораживаясь политически и, как следствие, экономически, — российский авторитаризм превращает себя в авторитаризм сугубо провинциальный. Из пригорода большого города, имеющего все шансы стать его частью и тем самым получить право на участие в его управлении, он пытается превратиться в глухую деревню, до которой этому городу, по большому счету, не будет никакого дела. Да, в этой деревне никто не будет мешать ему жить по-своему, по своим понятиям, даже если они обернутся нравами и образом жизни многовековой давности — с произволом сильных, бесправием слабых и подавлением всего, что движется

или хотя бы шевелится без разрешения свыше. Но и вмешиваться в жизнь мирового «города» ему уже не позволят — ни прямо, ни косвенно, ни экономическим принуждением, ни силой оружия, даже если ему и удастся его сохранить.

Действительно, сегодня мы можем наблюдать, как в России формируется не просто периферийный авторитаризм, а авторитаризм провинциальный, кичащийся своим периферийным положением и стремящийся закрепить его ради сохранения власти в руках ныне правящей группировки. Он исключает подконтрольную ему территорию из мирового развития, сознательно противопоставляя себя силам глобального управления и заявляя о несогласии с принципами, на которых оно было построено после Второй мировой войны. Среди них есть и принцип иерархии силы и ответственности, согласно которому претензии на роль силы, определяющей правила международного поведения, должны подкрепляться адекватными этой роли экономическими, финансовыми и организационными возможностями. И, соответственно, путь к повышению своего статуса в рамках глобального управления лежит именно через наращивание этих возможностей, а не через отказ следовать правилам на том основании, что они установлены другими. Потому что правила, которые в более или менее устойчивом виде сформировались к концу XX века, являются результатом и следствием бесконечных войн, которые европейские страны вели друг с другом и с остальным миром в течение многих столетий, пытаясь доказать собственную исключительность, загу-

бив при этом десятки миллионов человеческих жизней и уничтожив в бесчисленном количестве плоды их усилий. И этот обильно политый человеческой кровью свод неписаных правил не будет изменен на основании того, что он не удовлетворяет амбициям и представлениям о справедливости одного национального лидера или даже группы таких лидеров, недовольных своим нынешним положением в мировом сообществе.

Провинциальный авторитаризм в его российском варианте поступает по-другому: он стремится предъявить всему миру иные, свои собственные правила существования, пребывая в обывательской уверенности, что везде все именно так и устроено — от времен незапамятных и до наших дней, и с перспективой на обозримое будущее. При этом он претендует на безусловное сохранение этих правил в своей провинции, границы которой он определяет произвольно и по собственному усмотрению. «Русский мир» в нашем случае есть не более чем эвфемизм для обозначения такой провинции, простирающейся на все российское историческое пространство.

Вместе с тем возможности «узаконить» эти правила в масштабах всего мира практически отсутствуют.

Да, Россия обладает значительными военными возможностями, особенно если принять во внимание ее ядерный потенциал. Но ее экономические возможности крайне ограничены, несмотря на огромную территорию и природные ресурсы, которые,



впрочем, далеко не всегда и не обязательно обращаются экономическими преимуществами.

О так называемой «мягкой» или «умной» силе — силе, использующей культурный и интеллектуальный потенциал общества — в нынешней ситуации не может быть и речи. В этом отношении мировая периферия ни при каких условиях не может соревноваться с центром, как и деревня — с городом, а территория массовой нужды — с обществом потребления. Даже пропаганда с использованием современных информационных технологий неэффективна: глобальный информационный мейнстрим она определять неспособна даже в малой степени, оборачиваясь бессмысленной растратой и без того ограниченных ресурсов на строительство воздушных замков и обман собственного населения.

Итог же всех этих усилий предсказать нетрудно. Логика развития провинциального авторитаризма ведет его к увеличивающемуся расхождению с глобальной политикой, к самоизоляции, к замыканию в себе с четкой перспективой коллапса, схлопывания внутрь.

Уход с этой траектории объективно необходим не только российскому обществу в целом, но и его политическому классу, и даже самому российскому авторитаризму, историческая судьба которого в случае продолжения нынешних тенденций может оказаться незавидной. И главный вопрос, ответ на который определит наше будущее, заключается в том, сможет ли российская политическая элита найти и мобилизовать в самой себе достаточные

силы, чтобы переломить возобладавшие сегодня тенденции и попытаться заново вписать судьбу страны в мировой контент, найдя там для нее достойное место и перспективу на будущее.

## Новый облик российского авторитаризма

Рассматриваемые в совокупности, вышеописанные тренды формируют новый облик российского авторитаризма, который формируется здесь и сейчас как логическое продолжение тех его черт, которые сформировались в предшествующий период, но приобрели новое качество под влиянием ужесточения внешних условий, в первую очередь сужения экономических возможностей.

Это сужение возможностей, в свою очередь, было неизбежным следствием периферийного характера российского капитализма, поскольку общее замедление роста мировой экономики и все более явственный отход ее центра от традиционных отраслей и сфер усложняет условия воспроизводства для экономик капиталистической периферии, к числу которых относится и российская. Не имея возможности и ресурсов для переориентации на сектора, обеспечивающие больший динамизм и щедрую отдачу от затраченных ресурсов, эти экономики сталкиваются с падением собственной эффективности, доходов и возможностей; с ростом неудовлетворенности наиболее энергичных и амбициозных групп населения, которые начинают либо в массовом порядке искать возможности работы за рубежом, либо выражают свое недовольство доступными им способами.

Кроме того, усиление проблем и рост ограничивающих факторов в глобальной экономике ведет к тому, что объективно сокращаются возможности обеспечить каждой из стран необходимые условия для экономического процветания. Это с неизбежностью побуждает более сильных игроков на мировой хозяйственной сцене меньше задумываться о состоянии «периферии» глобального бизнеса, в меньшей степени учитывать ее интересы в мировой политике и международных отношениях.

В случае России эти перемены воспринимаются особенно болезненно, поскольку национальная элита априори оценивает свою роль и свое место выше, чем это делают окружающие. Громко озвучиваемые претензии на большее вызывают у мировых лидеров раздражение; ощущение того, что российский руководитель пытается играть не по правилам, не «по понятиям» (а в случае с присоединением Крыма — и вовсе «беспредельничать»), что становится причиной новых глубоких обид и резких реакций.

Собственно, все это и привело к тому закономерному итогу, что эволюция постсоветской российской автократии пошла по пути замыкания режима «на себя» и усиления в нем тоталитарных черт, а не постепенной конвергенции с западным политическим мейнстримом. При этом следует оговориться, что конвергенция в данном контексте не означает устранение различий, и уж тем более подчинение поведения интересам более сильного. Сходство политических систем, основанных на внутренней политической конкуренции, безусловно, не отме-

няет конкуренцию внешнюю. Когда сторонников такой конвергенции (а именно она имеется в виду, когда говорят о необходимости «европейского пути», или «европейского выбора» для России) обвиняют в том, что они собираются «лечь под Запад» или «под США», то это не более чем пропагандистская ложь (если речь, конечно, не идет об отдельных маргиналах или откровенно больных людях).

Если смотреть на мировую политику беспристрастно и непредвзято, то нельзя не заметить, что конкуренция между государствами ядра мирового капитализма острее, нежели конкуренция между ними и мировой периферией — точно так же, как внутривидовая конкуренция в животном мире гораздо ожесточеннее межвидовой. Схватки между отдельными компаниями и группами за рынки и, соответственно, перспективы больших будущих доходов, протекают острее, чем схватки между средневековыми монархами за новые территории для освоения и грабежа. Разве что при этом льется не кровь, а лишь невидимые миру слезы, однако накал страстей и масштабы интриг, а также оказываемого давления, нажима и затрачиваемых ресурсов таковы, что многие войны прошлых столетий кажутся рядом с ними детской игрой «Зарница» советских времен.

И если бы Россия сумела совершить исторический прыжок из мировой полупериферии, где она находилась в высшей точке своей советской истории, в ядро всемирного капитализма, конечно, ни о какой идиллии отношений с другими частями ядра не могло бы быть и речи. Да, ей пришлось бы считать-

ся с более сильными, уступать им в тех или иных вопросах. Однако при этом она могла бы отодвигать конкурентов на тех участках, где имела бы возможность сосредоточивать превосходящую массу ресурсов; строить коалиции, интриговать, но добиваться своих целей. Это в итоге давало бы ей шанс расти не только абсолютно, но и относительно, повышая свое место в мировой иерархии богатства, силы и влияния.

Но история распорядилась так, что этот шанс оказался утраченным на длительный срок. Конечно, ничего по-настоящему необратимого пока не произошло, но дорожный каток, если его уже разогнали, остановить довольно трудно, особенно если водитель не собирается это делать и, напротив, испытывает восторг от того, как окружающие в ужасе разбегаются, боясь оказаться на пути его движения.

Но каток предназначен лишь для того, чтобы закатывать все в асфальт. Для гонок на скорость и на выживаемость он абсолютно непригоден. В глобальной гонке индустриальных, постиндустриальных и просто современных экономик авторитарные режимы на длинных дистанциях неизбежно проигрывают, если не начинают эволюционировать в направлении продвинутых конкурентных систем, снабженных механизмами поиска и реализации общественных целей, позитивного отбора кадров, самокоррекции и страховки от глупостей и крупных долгосрочных ошибок. А наша система не только не двигается в этом направлении, но, наоборот, дрейфует в противоположную сторону.

Многие сегодня говорят о возвращении советских времен (имея в виду позднесоветский период, т.е. так называемую «эпоху застоя»). А некоторые — что на самом деле Россия ее и не покидала. Тем не менее, это не так.

На самом деле, то, что мы имеет сегодня — это не возвращение к «доперестроечным» временам; это, скорее, попытка перескочить через них куда-то на далекую историческую периферию через искусственное, вульгарное и спекулятивное противопоставление себя «европейскому» или, говоря сегодняшним языком, западному миру. Это откат по всем направлениям — от современных общественных институтов и модели организации хозяйственной жизни до сферы культуры, образования и идеологии.

Это — не что иное, как попытка уйти от реальной борьбы за место под солнцем для своей страны — уйти через погружение в свои слабости и страхи и несбыточные мечты о строительстве собственной «русской цивилизации». Это — попытка укрыться от действительных проблем, от поиска для них рациональных и устойчивых решений через попытку заморозить все общественные процессы, подменить их бесплодным поиском несуществующих новых и старых смыслов. Это — безответственная попытка замазать реально существующие риски вымышленными «смертельными угрозами» и безответственная готовность поставить под удар судьбу государственности в России в ее нынешнем виде и составе. Это, наконец, прямая попытка превра-

тить территорию огромной и исторически совсем не бесперспективной страны в мировое захолустье без шансов стать одним из реальных мировых лидеров XXI столетия.

Как долго продлится это безумие, эта опасная игра, в которой ставкой является судьба страны и ее народа? История — капризная штука, и дать на это однозначный ответ сегодня невозможно. Много, конечно, зависит от внешних обстоятельств; от того, как поведут себя другие международные игроки. Но в любом случае долг всех здоровых политических сил в стране — попытаться разработать и предложить реалистичную альтернативу, действительно реальный план выхода из нынешнего кризиса и, если нужно, навязать его напуганной и дезориентированной российской политической элите, заставить эту элиту выполнить свой долг перед страной и народом.

## Вместо заключения

При всех реализованных и нереализованных опасностях, которые несет с собой нынешний российский режим, с точки зрения исторического процесса он представляет собой трагический гротеск.

Политическая система современной России является выражением и оформлением такого состояния умов властвующей уже в течение двадцати лет группировки, которое характеризуется практически полным отсутствием серьезных идеологических концептов, тотальным релятивизмом, фетишизацией личного потребления и обогащения. Несмотря на стремление придать своей политике идейную окраску, апеллирующую к самым простым инстинктам родоплеменной общности и неосознанному страху перед окружающим миром, эта группа на самом деле отвергает любые ценности, имеющие общественные масштабы и выходящие за горизонт индивидуального физического существования. Максимизация личного удовлетворения от использования своего ресурса власти и влияния, от возвышения над более слабыми и социально ущербными в сознании этой группы неизменно доминирует над долгосрочными интересами общности граждан, составляющих сегодняшнюю Россию. А это означает, что упрощение не только сознания, но и самой этой общности, структуры и содержания общественной жизни парадоксальным образом воспринимается ею как позитивное и желаемое явление.

Иначе говоря, эта система максимизирует общественную демодернизацию, деструкцию и миними-



зирует все смыслообразующее, этическое, эстетическое и конструктивное.

По сути она представляет собой разновидность некоего политического постмодернизма, подмену смыслов яркими картинками и символами, действующими на подсознание людей и не предполагающими их осмысления и сопоставления. В этом смысле, в частности, показательно нынешнее эклектическое соединение в государственной символике императорского герба, советского гимна и как бы «демократического» флага, по сути представляющее собой бессмысленное перемешивание исторических кодов. Да и сами эти символы целиком принадлежат прошлому, что лишний раз иллюстрирует органическую неспособность этой системы решать проблемы настоящего и будущего, которые она цинично отодвигает даже не на второй — на двадцатый план.

Нельзя сказать, что этот политический постмодерн представляет собой сугубо российское явление, — его ростки видны сегодня повсюду, не исключая и самые «продвинутые» в политическом отношении государства и общества. Однако здесь в силу особенностей «периферийного» самосознания элиты он приобретает, пожалуй, наиболее гротескные формы.

И в этом, на мой взгляд, состоит одно из его коренных отличий от тоталитарных систем прошлого века. Национал-социалистический режим в Германии и советская система в России не были ни гротескными, ни постмодернистскими — они

вполне серьезно пытались навязать всему миру свое собственное, по-своему последовательное видение сущности общественных отношений, сводя их, в первом случае, к этническим и расовым, а во втором — к социально-классовым детерминантам. Каждый из них создавал работоспособную систему институтов, задачей которых было воплощение этого видения в реальность.

Более того, усилия в этом направлении имели масштабный и системный характер. И, в сущности, тот факт, что в прошлом веке весь мир жил и мыслил по канонам реального, а не постмодернистского сознания, и привел эти системы к закономерному концу.

Одна из них была физически разгромлена вследствие предпринятой ею агрессивной попытки выйти за рамки одного государства. Другая, также весьма опасная, по внутренним причинам в 1980-е годы резко изменила траекторию свойственного ей развития.

Ситуация с нынешней российской политической системой иная — она гротескна, потому что паразитирует на прошлом, не создавая ничего нового, — только расхожие клише и лозунги, за которыми нет реального содержания. Источниками нынешнего российского периферийного капитализма стало советское наследие, помноженное на реформы 90-х годов, не создавшие ни одного из необходимых для современной жизни институтов: ни закона как такового, ни правовой системы в целом, ни реального права частной собственности. Все это и многое

другое, жизненно необходимое стране, было подменено имитациями — имитацией политической конкуренции, выборов, партий, парламента, правового порядка и т.п.

Но реальная жизнь не терпит вакуума. Появились сильные реальные институты-заместители: коррупция, отношения по «понятиям», вождизм, ручное управление и др. То есть институты в классическом понимании — как элементы системы управления и самоуправления общества — в России, конечно, есть, но по своему содержанию они являются демодернизационными, то есть ведут к необратимому отставанию, архаике, деградации и, в конечном счете, к общественному распаду.

Другими словами, современный российский периферийный авторитаризм носит не переходный, а тупиковый, демодернизационный характер. А главное, в силу своих встроенных черт, прежде всего в силу несменяемости и безальтернативности власти, он лишен внутренних механизмов и движущих сил самоадаптации к реальности и поиска ответов на внешние вызовы.

Поэтому правы те, кто считает, что этот режим исторически обречен; что он не сможет найти правильные формы и пути адаптации к реальным условиям — если, конечно, сами эти условия не изменятся в катастрофическом для мира направлении. Если весь мир не погрузится в пучину экономического хаоса и военных конфликтов, если он сможет нащупать путь к устойчивому росту в условиях мира

и безопасности, то новое поколение российского политического класса — те, кому сегодня 20–30 лет, — не смогут долго сохранять и поддерживать политическую систему России в ее нынешнем виде, не оставив при этом страну под угрозу распада и разрушения.

А угроза такого развития событий есть, и она вполне реальна. Нынешняя система уже привела к трагическим последствиям, поставив страну на грань полномасштабной кровопролитной войны. Снова начинает работать порочный круг, когда пропаганда наличия внешней угрозы порождает или усиливает эти угрозы, а сверхусилия в военном строительстве через деградацию экономической базы снижают, а не укрепляют фактическую способность противостоять внешним и внутренним угрозам безопасности. Тем самым трагический фарс постепенно перерастает в реальную трагедию страны и общества.

Таким образом, система периферийного авторитаризма не просто оказывается неспособной решить главную историческую задачу России в XXI веке — преодолеть разрыв между нею и развитыми странами мира. Она начинает угрожать самому существованию страны в ее нынешнем виде, делая ее лакомой добычей для всякого рода экстремистов, политических мародеров и организованного криминала, которые способны превратить государство в пустую оболочку, лишенную способности выполнять даже самые базовые свои функции. О дальнейших перспективах развития событий при таком сценарии можно только догадываться.

Что же касается вопроса о том, есть ли из нынешнего трагического фарса выход в сторону модернизации и развития, то он по-прежнему остается открытым.

## Summary for English readers

*The key to understanding Russia's present political system is a simple notion that it is neither a whim of history brought about by an individual will of Russia's current leader nor an accidental deviation from the presumably natural path of building Western-style political institutions and practices. Indeed, the last two decades in Russian history did contain some important choices, which the country made, either consciously or unconsciously. Essentially, however, it was a prolonged but consistent process of authoritarian bureaucracy consolidating its self-perpetuating grip on political and economic power in the country. That is the gist and the essence of this book.*

*True enough, the entrenching power of centralized bureaucracy in Russia according to its ages-old tradition is embodied in the Kremlin, and the man who reigns in it at a particular moment, whatever his name may be. That gives Russian autocracy a distinct personal touch, with the man presiding over the state machine defining the style and agenda of bureaucratic rule. Nevertheless, the real power vests with the bureaucracy itself, which may be shaped and used for arbitrary ends though within limits, and able to resist the strongest pressures when its vital power instincts are infringed upon.*



That is the reason why this book, which I hope tells a lot about “Putin’s Russia”, may appear too brief on Putin himself. Despite the nearly mystical power that both his loyalists and many of his opponents ascribe to him, he is essentially an integral part of Russia’s present political system, its product and explanation. His mindset is that of a typical member of Russia’s privileged bureaucratic class slightly influenced by peculiar secret-service fancies. A going theory that he by his personal will turned back the tide of 1990’s and transmuted a young Russian democracy into a dictatorial state is nothing but a myth. In fact the opposite may be true: his power is a reflection and a direct continuation of the system of government and trends which materialized in 1990’s.

It was exactly the time when the Soviet-era administrative elite, which had presided over the collapse of the Soviet Union and had taken control over what remained there after its demise, did not risk letting itself divide and create competing centers of power. Power in Russia remained undivided, the ruling group was subject neither to control from beneath or from competing rivals, nor to the possibility of replacement or rotation through collective decision of the privileged classes. Its power was limited only by the technical feasibility of policies to be implemented, not by binding obligations or external checks. Competition in political life was tolerated as long as rival groups aspired for the opportunity to influence the government, but not for the power it held. The single centre of undivided and unquestionable power (in the 1990’s it was then-President Yeltsin) used competing groups below as checks and counterweights against each

other, but its own power could not be either checked or counterbalanced.

It is exactly this kind of political system that was inherited and conserved by Putin. Moreover, he has stripped this system of unnecessary disguise and hypocrisy, and consolidated it, as well as its self-evaluation, thus making it more assertive. In fact, his personal contribution to the system could be summed up as two important things.

For one thing, he has determined the direction of its further course. As a possibility he could have opted to try changing the path of the system’s evolution towards laying the foundations for political competition and Western-style democracy, if he chose so. He did not do that for at least two reasons.

First, nobody really pushed him to do that. Neither the Russian political class at large, which had no aspirations for the role of the modernizer of Russian society. Nor the West, which talked to Putin as a man who was presiding over a country that had lost the Cold War and hence the right to participate in deciding the rules of international and even its own domestic political affairs.

Second, he himself being a true son of the old Soviet ruling elite (the siloviki part of it) did not believe in the power of political competition, considering it harmful to the unity of the Russian nation and to the strength of national statehood.

Another thing, which Putin contributed to the Yeltsin-time political system, were his efforts to nullify elements that were alien to authoritarian system, that is 1) competitive elections and 2) independent private big

business capable of gaining political power (the so-called “oligarchy”). In both cases he made a considerable advance in this direction even before the fresh round of authoritarian restyling of Russian politics in 2013–2014. The latter made the goal of building a near-classical autocracy based on “one nation — one leader” principle not only feasible but rather an inevitable achievement. By the time this book is published elections at almost every level have come to produce results that are 95% predictable, while the remaining 5% could be managed by other means or simply neglected. On the other hand, big private business not linked to big government survives, if it does, as a poor relic of the so-called “oligarchy” of the 1990s, and the last thing it wants to be thought of is its having any political ambitions.

As a result, what we are witnessing now in Russia is a consolidated, fully-fledged autocracy with an indisputable leader presiding over privileged bureaucracy and a very large strata of public and semi-public workers, as well as straight dependents of the state, who rely on the government for their income and protection against all sorts of menace, both real and imaginary.

The reasons for that are plentiful, but one important factor, which is stressed in this book as being of utmost importance, is that contemporary Russia that emerged on the ruins of a former communist superpower is a peripheral and subordinated part of the global capitalist civilization, of its economy, technologies and politics.

Russia’s role in the global economy is limited to that of a supplier of hydrocarbons (and a small portion of other primary products) to more advanced and wealthy

nations, with little chance of breaking the vicious circle of low position, poor efficiency and low status. The result is an almost complete absence of sovereign business class, self-conscious and independent from government bureaucracy, which would be eager to integrate itself into global business aristocracy. Hence little motivation can be expected in the Russian political class to change domestic political and business rules in order to gain competitive power and international advantages.

The drive towards fully-fledged autocracy has been made easier by the weak political position of the country and its low economic status. Lack of powerful economic and political leverage intensifies Russia’s frictions with global political leaders, who tend to impose their will on the rest of the world. The resulting frustration nourishes authoritarian political trends and the forces promoting them while undermining the position of those advocating an open and free political system.

Moreover, the psychological heritage of a former superpower’s past glory and fancy ideas of a global mission come into unbearable contradiction with Russia’s dependent and subordinate position within the global hierarchy. That makes the Russian elite resent the rules being imposed on it by the established world leaders as well as those who are trying to do it. Putin’s anti-Western mood stems not so much from his personal views and tastes, but rather from the general sense of discomfort of the entire Russian establishment, aspiring to join the upper ranks of the world elite but failing to produce solid good reason to demand that.

*The recent crisis in Russia-Ukraine and Russia-West relations should be analyzed with a broader view of the changing situation in Russia. In fact, it is only a piece of a bigger puzzle, an outer extension of deep divisions and frustrations tormenting the collective mind of the Russian political class.*

*It is true that major decisions in the Russian government system are made at the very top. Nevertheless, the top relies on reports from a broader range of administrators and functionaries who form the mood and presuppose the range of possible decisions. Political class at large is not a passive recipient of decisions made at the top — rather it determines their direction and range.*

*An acute and menacing crisis in Russia's relations with the West resulting from Putin's rejection of rules of behavior which are considered by the West to be universal and obligatory, is to a large degree his personal choice reflecting his personal vision. Nevertheless, the decision was not completely personal and free — it came in the logic of consolidating the autocratic government system which made systemic break with the West inevitable. Moreover, the need for consolidation of the system came out of its obvious inability to solve the problems Russia faces.*

*The control of the very top over the entire system, its governability and sense of stability have been undermined by a sharp reduction of growth rates and mounting difficulties in extracting dictatorial rent from the economy to be distributed among the privileged bureaucracy and thus uphold the autocratic rule. That produced the need to find new instruments to*

*consolidate the system like more official indoctrination and control over media, accentuating real and imaginary dangers from external and internal “enemies”, fostering the feeling of being victimized by a hostile world.*

*Hence, the situation could not be reversed easily by a single decision, even if Putin were prepared to make it. To turn the tide back, systemic changes in the mindset and world vision of the Russian political class are a necessary condition. This is a fundamentally difficult task that would take years to solve, but there is no other way to achieve a lasting settlement. Attempts to solve the issue by sanctions and private deals with Putin will be short-lived and ultimately fruitless. The only practical way to prevent Russia from fundamentally isolating itself from the West is to make it choose a difficult and painful road of converging with the mainstream of global capitalism and adapting to its realities and to wage an honest dialogue with the Russian political class at large.*

*Автор выражает признательность за поддержку при подготовке книги, участие в обсуждении и редактировании рукописи В.В. Когану-Ясному, В.Г. Швыдко, А.В. Космынину, а также редактору Ю.А. Здоровову.*

Григорий Алексеевич Явлинский

# Периферийный авторитаризм

*Как и куда пришла Россия*

Подписано к печати 12.03.2015

Формат 84×108/32

Гарнитура Minion Pro.

Печать офсетная.

13,86 усл. печ. л.

Тираж 1000 экз. Заказ 1001

Издание отпечатано в типографии

ООО «Галлея-Принт»

111024, Москва ул. 5-я Кабельная, 2-б

